

Фрагменты из книги

Василюк Ф.Е. Методологический анализ в психологии. М.: МГППУ; Смысл, 2003. — 240 с.

В монографии рассматриваются три уровня методологического анализа в психологии. На первом уровне фокусом методологического внимания становится отдельная категория, на втором — психологическая концепция, на третьем — научная ситуация. Каждый из уровней представлен в книге образцами коротких методологических исследований, материалом для которых послужили концепты и концепции таких авторов, как И.П. Павлов, Г. Селье, Б.Ф. Скиннер, А.Н. Леонтьев, Н.А. Берн-штейн, Д.Н. Узнадзе, В.Н. Мясищев и др.

Пособие адресовано аспирантам и студентам старших курсов психологических факультетов. Навыки методологической работы особенно востребованы при подготовке к итоговым и кандидатским экзаменам, при написании диплома и диссертации. Книга обращена также к коллегам, которые, уже все сдав и защитив, продолжают с интересом вдумываться в теоретико-методологические проблемы психологии.

Содержание

Предисловие

Часть 1. Методологический анализ психологических понятий

1.1..... Введение

1.2..... Методологический анализ понятия стресс

1.3..... Историко-методологический анализ
психотерапевтических упований

Часть 2. Методологический анализ психологических теорий

2.1..... Введение

2.2..... От Павлова к Бернштейну

2.3..... Павлов и Скиннер: сравнительный
методологический анализ теорий

2.4..... К проблеме единства общей психологии

Часть 3. Методологический анализ научной ситуации в психологии

3.1..... Введение

3.2. От психологической практики к психотехнической теории

3.3. Методологический смысл психологического схизиса

Комментарии

Литература

2.3. Павлов и Скиннер: сравнительный методологический анализ теорий

Название главы можно было бы стилизовать под логическую формулу «(Павлов & Скиннер) $\vee$ Бернштейн?», пытаясь так выразить, во-первых, утверждение, что истинно одно из двух — либо теория Н.А. Бернштейна, либо концепции И.П. Павлова и Б.Ф. Скиннера вместе взятые, а во-вторых, вопрос — что же все-таки истинно? Однако от подобного заголовка пришлось отказаться потому, что о теории И.П. Павлова речь пойдет только в самом конце главы, а фамилия Н.А. Бернштейна и его конкретные теоретические идеи почти вовсе не будут фигурировать на последующих страницах; но, главное, потому, что для автора эта дизъюнкция уже потеряла свой вопросительный знак, она решена в пользу Н.А. Бернштейна. Авторская точка зрения совмещена в рамках данной работы с той методологической и теоретической позицией, которую символизирует имя Н.А. Бернштейна, и анализ оперантного бихевиоризма Б.Ф. Скиннера ведется с опорой именно на это основание, само по себе остающееся вне обсуждения, как бы вынесенным за скобку. Что касается знака конъюнкции между Павловым и Скиннером, то он использован здесь скорее в психологическом, чем в логическом смысле и выражает сложившееся у автора убеждение, что концепции этих ученых вырастают из одного и того же методологического корня, имеют один и тот же философский и методологический «генотип», черты которого, несмотря на все «фенотипические» различия, явно проступят, если поставить эти две теории рядом.

«Поставить теории рядом» — значит придать им сопоставимую форму, чтобы можно было сравнивать не по их самопредъявлению, не по поверхностным признакам, а по внутренней сути. Для этого нам понадобится методологически препарировать концепцию радикального бихевиоризма так же, как это было сделано в предыдущей главе по отношению к теории условных рефлексов и с помощью того же, уже знакомого читателю методологического аппарата (онтология — основной идеальный объект — предмет — объект — метод).

Радикальный бихевиоризм Б.Ф. Скинера

1. Онтология

Онтологией радикального бихевиоризма является та же, что и у И.П. Павлова, схема «организм—среда». Однако понятие организма здесь пересмотрено, точнее — принципиально и сознательно недосмотрено: исходя из своей позитивистской установки, Б.Ф. Скиннер отказывается от учета всех внутренних, во внешнем поведении непосредственно не наблюдаемых процессов — физиологические они или психологические — неважно, а вернее, неизвестно. Организм есть «черный ящик», некая непрозрачная емкость, в принципе не проницаемая, а главное — неинтересная для бихевиористского взгляда. Организм — это место, в котором нарушается непрерывность наблюдаемых в онтологии «организм—среда» процессов, это как бы дыра, брешь в среде, где бесследно исчезают и откуда неожиданно появляются наблюдаемые процессы. Между теми и другими, интерпретируемыми соответственно как стимулы и реакции, естественно, устанавливаются не причинные отношения, предполагающие наличие непрерывности, а отношения корреляционные. Скиннер «игнорирует возможность промежуточных физиологических звеньев... — пишет известный историк психологии Е. Боринг. — Такие функциональные отношения, как $R = f(S)$, устанавливаются наблюдением за соизменениями S и R и лишены физической непрерывности между терминами, которую предпочитают большинство ученых. Скиннеровские функции — просто корреляции дискретных переменных, и друзья Скиннера порой шутят, что он имеет дело с пустым организмом» (Boring, 1950, p. 650).

В шутке этой, впрочем, шуточного немного, она является вполне точной констатацией ядерной методологемы радикального бихевиоризма, которую можно назвать

абстракцией «пустого организма». Эта абстракция чрезвычайно последовательно проводится Скиннером на всех уровнях исследовательской работы, начиная от решения методологического вопроса об отношениях между физиологией и психологией и кончая способом описания и фиксации конкретных экспериментальных условий. Нелепо было бы, конечно, понимать эту абстракцию буквально. Разумеется, Скиннер знает, «что организм не пуст и поэтому не может быть адекватно изучен просто как "черный ящик", но, — настаивает он, — мы обязаны внимательно относиться к разнице между тем, что нам действительно известно о находящемся внутри, и тем, что просто логически выводится» (*Skinner*, 1974, р. 213). Абстракция «пустого организма» — лишь квазионтологическое выражение пафоса гносеологической борьбы Скиннера против метафизических демонов и гомункулусов, в какие бы материалистические одежды они ни рядились в теориях современных физиологов и психологов, приписывающих своим концептам реальную силу и способность упорядочивать поведение и управлять им. Другими словами, абстракция «пустого организма» — выражение неудовлетворенности «менталистской» психологией (считающей возможным ссылаться при объяснении поведения на такие ненаблюдаемые вещи, как желание, потребность, намерение и т.п.) и «концептуальной» физиологией, апеллирующей к столь же мистическим сущностям. Дело в том, поясняет Скиннер, что с античности поведение объясняется смесью анатомических, физиологических и менталистских фактов. «Его сердце разбито в любовной драме»; «Он ошибся, потому что его нервы были натянуты» и т.д. и т.п. Это обстоятельство сказалось не только на психологии, но и на физиологии. «Были выделены различные части нервной системы, но что происходит в каждой из них — это только логически выводилось. Отчасти такое положение сохранилось и в XX веке. Синапс, проанализированный сэром Чарльзом Шерингтоном, был частью концептуальной (читай «воображаемой». — *Ф.В.*) нервной системы; то же относится и к "деятельности коры больших полушарий", исследованной Павловым» (*Skinner*, 1974, р. 213). Чем пользоваться воображаемой нервной системой «для объяснения поведения, из которого она сама логически выводится», — считает Скиннер (*там же*), — лучше уж вообще отказаться пока от всякого физиологического объяснения.

Хотя в отношении будущей физиологии Скиннер настроен чуть более оптимистично, но и ей отводится весьма скромная роль заполнения бреши между стимулами и реакциями, оставленной ей бихевиоризмом, знаниями о химических и электрических процессах, которые происходят в организме, когда он действует (*Skinner*, 1931, 1974). Впрочем, и тогда «то, что откроют физиологи, не сможет сделать недействительными законы, установленные наукой о поведении» (*Skinner*, 1974, р. 215).

При всей справедливости критики Б.Ф. Скиннером физиологических фантазий нельзя не заметить, что он принципиально вычеркивает физиологию из списка поведенческих дисциплин, хотя из вежливости и говорит, что в будущем, когда она наберется ума, ей, может быть, и доверят закрасить белые пятна на карте научного объяснения поведения, но уж, конечно, никогда не доверят самой рисовать контуры поведенческого ландшафта. В самом деле, если, по мнению Скиннера, никакое самое совершенное физиологическое знание не сможет поколебать уже установленных законов поведения, значит, исторически сложившаяся граница между физиологией и бихевиоральной психологией возводится в ранг принципа, а следовательно, в онтологической плоскости строится непреодолимая стена между внешним и внутренним (физиологическим), между поведением организма и организмом. Поэтому психолог-бихевиорист, хотя и может помечтать, что физиологи когда-нибудь расскажут ему, «что происходит, когда, например, ребенок учится пить из чашки», или более того, «как, следя за изменениями в нервной системе, добиться, чтобы он научился это делать» (*Skinner*, 1974, р. 214), но в качестве профессионала он должен забыть, что за кожей что-то есть, что там происходят процессы, существенно сказывающиеся на поведении, или — упаси Бог — что есть нечто внутреннее, которое и в поведении не наблюдается, и в организме

самым совершенным прибором не сыщешь и которое тоже вносит свой вклад в организацию и осуществление поведения. Хочешь оставаться ученым — считай, что «организм пуст», ищи детерминанты поведения в видимой внешней среде, отказываясь от метафизической привычки ссылаться на какое-нибудь «переключение возбуждения» или «намерение», которых никто никогда не видел и которых, следовательно, не существует как научных фактов. Вполне очевидно, что на философском уровне радикальный бихевиоризм является радикальным позитивизмом¹.

Приведем конкретный пример реализации позитивистских заповедей в познавательной практике радикального бихевиоризма. Когда в экспериментах Скиннера используется пищевое подкрепление, вес животного доводится, например, до 75% от обычного веса. Дело здесь не в том, что Скиннер хочет дать некоторое объективно фиксированное и потому операционально воспроизводимое выражение потребности, в данном случае пищевой. Он в принципе отказывается от понятия потребности (как бы его ни трактовали — физиологически или психологически) как некоего внутреннего состояния организма, являющегося причиной поведения. Здесь нет предположения, что у всех участвующих в эксперименте животных (или у одной особи в разное время) при доведении их веса до 75% от нормы пищевая потребность будет одинакова. Потребность, по Скиннеру, не есть то, что *означается* или *выражается* в этом весе, она *есть* 75% веса, и ни о какой другой таинственной *потребности*, приписываемой внутреннему миру организма, говорить нельзя, если мы хотим говорить научно (разумеется, в позитивистском смысле этого слова).

Скиннер утверждает: раз вы не можете объективно наблюдать потребность саму по себе, нельзя объяснять ею поведение, ибо само понятие потребности вы сначала выводите из поведения, а затем им же это поведение объясняете. Это физиологическая или психологическая мистификация, от которой бихевиорист должен отказаться. Когда вес животного перед экспериментом доводится до 75%, то это — некоторый твердый факт, имеющий определенную фиксацию. Если при этом утверждать, что животное испытывает голод и потому действует, то это равным счетом ничего не прибавляет к нашему знанию и, главное, никак научно, операционально не может быть учтено. Так что в экспериментальном мышлении Б.Ф. Скиннера не имеется в виду, что есть самостоятельная сущность — «потребность в пище», которая в данном эксперименте количественно выражается «семидесятипятипроцентным весом животного». Есть просто эти -75% веса, и, если угодно, можете называть это потребностью, но не вкладывайте в это слово ваших привычных ассоциаций, за ним ничего не должно стоять, кроме указанных

¹ Напомним с помощью В. Виндельбанда, в чем суть развитой Огюстом Контom философии позитивизма (которую сам Б.Ф. Скиннер воспринял от Э. Маха), особенно подчеркивая те аспекты, которые с буквальной точностью воплощены в гносеологии Б.Ф. Скиннера. «...Позитивная философия... — пишет В. Виндельбанд, — есть не что иное, как упорядоченная система позитивных наук. Контковский очерк этой позитивистской системы наук представляет собой прежде всего крайние выводы из воззрений Юма и Кондильяка. *Человеческое познание должно довольствоваться установлением соотношений между явлениями* (выделено мной — Ф.В.). Более того, вообще не существует какого-либо Абсолюта, который лежал бы, хотя бы в качестве чего-то неизвестного, в основе этих явлений. Единственный абсолютный принцип — то, что все относительно.

Совершенно бессмысленно говорить о первых причинах и конечных целях вещей. Однако этот релятивизм (или, как говорили позже, коррелятивизм) тотчас же заявляет универсальное притязание математического естественнонаучного мышления. Науке он приписывает задачу рассматривать все эти отношения таким образом, чтобы устанавливать не только единичные факты, но и их повторяющийся пространственный и временной порядок — "общие факты", но именно всего лишь как факты. Следовательно, посредством "законов" — обычное название для "общих фактов" — *позитивизм хочет не объяснять частные факты, а всего лишь констатировать эти повторения* (выделено мной. — Ф.В.). Тем не менее результатом подобного подхода должно явиться (что, конечно, остается непонятным и неоправданным при таких предпосылках) предвидение будущего как практическая услуга науки — *savoir pour prevoir* (знание ради предвидения)» (Виндельбанд, 1998, с. 440-441).

процентов и соответствующих процедур взвешивания.

Так «организм» в онтологии радикального бихевиоризма последовательно очищается от всех внутренних содержаний. Что касается понятия среды в этой онтологии, то его удобнее обсудить несколько позже.

2. Основной идеальный объект радикального бихевиоризма — оперантный рефлекс

Б.Ф. Скиннер так же, как и И.П. Павлов, полагает, что жизнь организма осуществляется за счет безусловных и условных рефлексов, но в отличие от русского исследователя он выделяет два типа обусловливания — классическое, или респондентное, изучавшееся в павловской школе, и оперантное обусловливание. Рассмотрим основные различия между этими типами. Б.Ф. Скиннер так схематизирует их (*Skinner, 1935*):

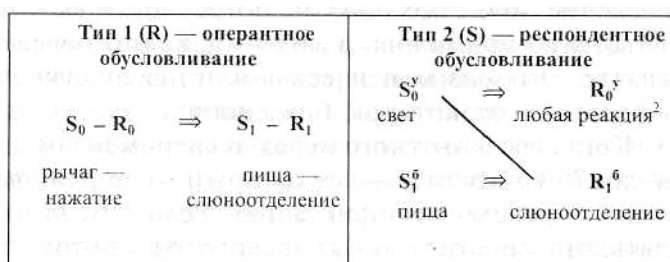


Схема 1. Различия оперантного и респондентного обусловливания (приводится с несущественными изменениями по изданию — *Skinner, 1959, р. 367*)

Центральное различие между этими типами приходится на результаты обусловливания. В первом случае происходит изменение силы рефлекса ($S_0 - R_0$), которая измеряется частотой или вероятностью появления ответа R_0 при наличии стимула S_0 ; во втором типе устанавливается условная связь $S_0^y - R_1^6$, то есть возникает новый рефлекс. Иначе говоря, оперантное обусловливание не порождает новых рефлексов, оно только увеличивает или уменьшает (в зависимости от того, положительное подкрепление или отрицательное) их силу, при респондентном же обусловливании возникает новый рефлекс, в котором ранее безразличный раздражитель S_0^y занимает место безусловного S_1^6 и обретает способность вызывать соответствующую безусловную реакцию R_1^6 .

Чрезвычайно важны для характеристики обоих типов временные условия подкрепления. Чтобы произошло оперантное обусловливание, подкрепление S_1 должно появиться после того, как произошла реакция R_0 . Во втором типе для обусловливания существенным является временное отношение подкрепления S_1^6 не с реакцией R_0^y , а с безразличным раздражителем S_0^y . Чтобы стать условным, стимул S_0^y должен предшествовать или появляться одновременно с безусловным раздражителем (подкреплением) S_1^6 .

В статье «Два типа условных рефлексов и псевдотип» (*Skinner, 1935*) Скиннер проводит еще целый ряд различий между R- и S-обусловливанием, но для целей нашего методологического анализа достаточно и только что описанных.

Коснемся вкратце вопроса о возможности сведения двух типов обусловливания друг к другу. К чести Скиннера надо сказать, что он избегает соблазна сводить классическое обусловливание к оперантному (*Skinner, 1935*). Правда, он утверждает, что чистый условный рефлекс эмпирически получить невозможно ввиду того, что во время подкрепления на животное действует не один только предназначенный стать условным раздражитель (например, свет), но вся совокупная стимульная ситуация. Поэтому для образования условного рефлекса на данный стимул требуется введение дополнительных

² С точки зрения представителей павловской школы, это не «любая реакция», а ориентировочная, что чрезвычайно существенно для замыкания условной связи.

условий, в самой схеме классического обусловливания не учитываемых, которые обеспечивали бы выделение S_0^y из стимульного поля, что экспериментально достигается его неожиданным появлением (Skinner, 1935). С точки зрения павловской теории условных рефлексов это просто недоразумение, основанное на игнорировании роли ориентировочной реакции: сначала Скиннер принимает, что для образования «чистого» условного рефлекса респондентного типа не существенна первичная реакция R_0^y на безразличный стимул, то есть ориентировочная реакция (*там же*), а затем, исходя из того, что для установления условной связи $S_0^y — R_1^6$ требуется некоторая активность организма по выделению S_0^y из стимульного поля, он утверждает, что «чистого» условного рефлекса не существует. Скиннер почему-то отказывается допустить возможность, что та самая реакция R_0^y , которой он пренебрег в схеме образования классического условного рефлекса, как раз и берет на себя функцию выделения стимула³. Почему же? Ведь экспериментально, в чисто бихевиористской манере не так уж трудно зафиксировать, например, снижение порогов восприятия объекта, который стал стимулом ориентировочной реакции. Но тем не менее придание должного функционального значения ориентировочной реакции привело бы Скиннера к недопустимым для радикального бихевиоризма выводам о наличии перцептивного взаимодействия животного со средой, изменяющего эту среду не материально, а идеально — приданием тем или иным объектам особого статуса в жизненном пространстве животного.

Что касается обратной возможности — сведения оперантного обусловливания к респондентному, то павловская школа вообще отказывается признать, что Скиннером (точнее, Миллером и Конорским) был открыт новый тип обусловливания, утверждая, что он без остатка сводим к закономерностям образования классического условного рефлекса⁴. Ход рассуждения базируется при этом на отождествлении оперантной реакции R_0 с безразличным стимулом S_0^y : собственное движение животного может явиться для него точно таким же стимулом, как и любое другое событие, и, следовательно, может быть рассмотрено как раздражитель. А раз этот раздражитель предшествует появлению подкрепления, то со временем он становится условным, то есть начинает вызывать соответствующую подкреплению безусловную реакцию. Ни логически, ни фактически это рассуждение не противоречиво: если нажатие на рычаг точно так же, как и появляющийся независимо от животного звонок, сопровождается кормлением, и то, и другое в равной мере могут вызвать слюноотделение. Но тем самым просто усматривается функционирование классического обусловливания в ходе и во время оперантного обусловливания. А это вовсе не означает сведение последнего к респондентному, поскольку основной факт оперантной теории — увеличение вероятности оперантной реакции R при положительном подкреплении здесь не объясняется. Этот факт в стандартной схеме павловского эксперимента был бы равнозначен — смешно сказать — увеличению вероятности зажигания лампочки по той причине, что свет от нее стал для животного условным раздражителем.

По-видимому, разумнее всего признать (как это и делает Скиннер — Skinner, 1935), что работают всегда оба механизма, и усмотрение функционирования одного во время

³ Справедливости ради заметим, что поводов для такого недоразумения в сочинениях И.П. Павлова предостаточно. Несмотря на ту роль, которую Павлов придавал рефлексу «Что такое?», он все-таки явно недооценивал его общетеоретическое значение, состоящее в указании на активный характер восприятия. Наиболее выразительное пластическое доказательство этой недооценки — «башня молчания», — попытка заменить инженерной конструкцией деятельность животного по выделению значащего сигнала из шумового фона, обнаруживающая предположение, что в принципе активность животного по отношению к условному раздражителю не обязательна для замыкания условной связи.

⁴ При той фетишизации мозговой деятельности (см. предыдущую главу), которая характерна для теории И.П. Павлова, иного нельзя было и ожидать: ведь не изменяются же законы функционирования мозга, в частности законы замыкания нервных связей, от того, что мы изменим экспериментальную ситуацию образования условного рефлекса, как это сделал Скиннер.

действия другого не устраняет ни тот, ни другой.

Рассмотрим теперь само понятие оперантного рефлекса безотносительно к его сопоставлению с респондентным.

Как изменяется оперантный рефлекс в результате подкрепления?

Существенной особенностью оперантного обусловливания является отсутствие подкрепления до тех пор, пока не произойдет оперантная реакция {Skinner, 1935}, то есть последняя — это реакция на биологически нейтральный раздражитель и может быть названа поэтому «безразличной» реакцией по аналогии с понятием безразличного раздражителя у Павлова. Другими словами, до первого подкрепления оперантная реакция осуществляется, не «имея в виду» своих биотических последствий, вне какой-либо данности животному жизненно важного объекта и, соответственно, вне данности связи между его движениями и каким-то их будущим значимым результатом. Однако и после того, как произошло обусловливание, ошибочно утверждать, что животное «прозрело» относительно последствий подобного движения в сходных условиях и что оно будет осуществлять его в следующий раз **потому**, что «предвосхищает» или, того хуже, — «надеется» на получение такого же результата. Все это, — говорит Скиннер, — не более чем менталистские домыслы. Обученная крыса нажимает на рычаг в скиннеровском ящике вовсе не потому, что «ожидает», будто это приведет к появлению пищи... Просто в результате подкрепления увеличивалась вероятность такой реакции при наличии подобного стимула. Человек в таком изменившемся состоянии может переживать, что он нечто «предвосхищает», «ожидает», но это эпифеномен, необходимости в таком переживании нет, психическая деятельность не существенна для оперантного поведения (Skinner, 1974).

В результате оперантного обусловливания нового рефлекса не появляется, а в старом не происходит никаких содержательных преобразований, никаких качественных перестроек, изменяется лишь его сила, или вероятность его появления {Skinner, 1935}.

Какова связь между стимулом и ответом в рефлексе?

Стимулом Скиннер называет некоторое воздействие среды, «вызывающее энергетическое изменение на периферии» {Skinner, 1931}. Реакция (ответ) тоже есть некоторое внешнее событие, движение, доступное наблюдению. Естественно, что стимул не может рассматриваться как **причина** реакции, ибо наблюдение непрерывной причинной цепи в организме прерывается, и Скиннер не считает необходимым или даже полезным для анализа поведения знать о том, что происходит внутри, за кожей. Ссылаясь на Э. Маха, он заменяет понятие **причинения** стимулом реакции понятием функционального отношения между ними (*там же*) и ставит задачу выявления корреляций: связь между ними в рамках радикального бихевиоризма не онтологизируется, она, как уже говорилось, отдается на откуп физиологии, которая, по мнению Скиннера, и должна заполнять брешь, оставляемую ей бихевиоризмом (Skinner, 1974), «стремясь к описанию рефлексов в терминах физико-химических событий» (Skinner, 1931, p. 336).

Итак, стимул рассматривается Скиннером не как причина, а как фактор (если дать понятию фактора определение детерминанты, про которую известно, что она влияет на наблюдаемые события, но содержательный характер действия которой не является ни известным, ни искомым). «...Стимулы, — утверждает Скиннер, — не вызывают оперантных ответов, они просто изменяют вероятность того, что эти ответы произойдут» (Skinner, 1974, p. 223). Они обладают этой способностью не сами по себе, а в силу того, что присутствуют во время действия подкрепляющих обстоятельств.

Какова должна быть связь между оперантной реакцией и подкреплением для того, чтобы произошло обусловливание?

Исходя из здравого смысла можно было бы сказать, что подкрепление данного акта поведения происходит потому, что он производит некоторые преобразования среды или положения тела животного в среде так, что этим обеспечивается удовлетворение той или иной потребности. Однако такое рассуждение в корне противоречит духу скиннеровской теории. Во-первых, «ошибочно говорить, что пища оказывает подкрепляющее действие **потому**, что мы чувствуем голод, или **потому**, что мы чувствуем потребность в пище» (Skinner, 1974, p. 50). Чувство голода есть лишь ощущение некоторого условия, участвующего в процессе подкрепления, причем это условие действует вне зависимости от того, ощущается оно или нет. Во-вторых, — и это главное — связь между реакцией и возникающим после нее безусловным стимулом, подкрепляющим ее, является не предметной, содержательной связью, а отношением *временного следования*. Они могут быть, конечно, связаны и содержательно-предметно, когда оперантная реакция является предметной причиной возникновения в стимульном поле животного подкрепления, но таковой эта связь будет лишь по совпадению, а не по существу. С точки зрения скиннеровской схемы оперантного обусловливания реальный характер связи между реакцией и подкреплением (и формы чувственной данности животному этой связи) несущественен, то есть теоретически не различим (хотя эмпирически он, конечно, вполне может быть зафиксирован). Реакция в этой схеме будет подкреплена потому, что безусловный стимул **последовал** за ней, а не потому, что она его **вызвала**.

Оперантная реакция (ответ)

Центральным звеном, сердцем радикального бихевиоризма является представление об оперантной реакции. Если в результате подкрепления оперантный рефлекс S—R не появляется, не исчезает и никак не перестраивается, а лишь увеличивается или уменьшается вероятность его появления, значит и часть его, реакция R, в прижизненном опыте животного не испытывает никаких преобразований. Оперантная реакция есть, таким образом, врожденное, твердое, не изменяющееся в онтогенезе двигательное образование. В этом своем готовом виде она время от времени «выбрасывается» организмом в среду и затем, как пружина, вновь возвращается в исходное положение. Она, так сказать, предлагает процессам приспособления принять себя такой, как она есть, и только назначить ей ту или иную частоту своего проявления при наличии определенной стимульной ситуации. Подобно герою авантюрного романа (см. Бахтин, 1975), она возвращается после столкновения с предметным миром в том же виде и состоянии, в котором ушла, ни на йоту не изменившись, а только испытал и удостоверив в этом столкновении свой неизменный состав. Реакция не деформируется и не преобразуется, в ее фактуре не остается никаких осадков, примесей и следов от ее выхода в свет. Это представление мы будем условно называть абстракцией «чистого движения»⁵.

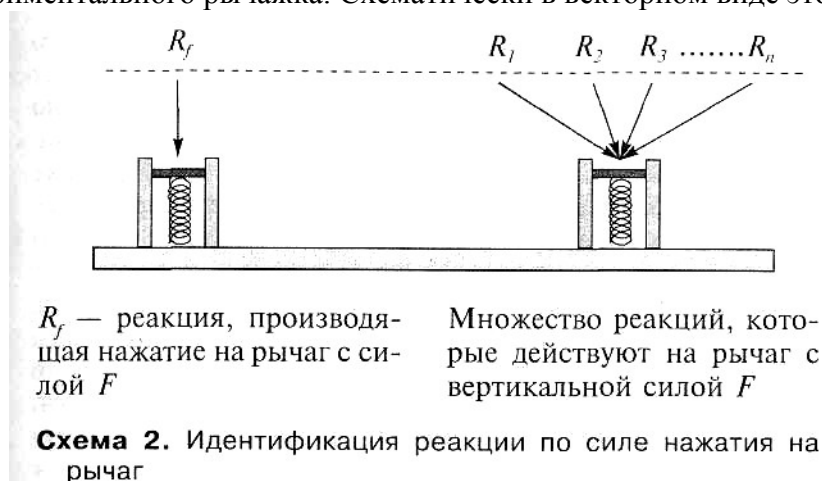
Если пренебречь некоторыми тонкостями, можно сказать, что наблюдать «чистые» движения мы могли бы только имея оптический прибор, вычитающий все влияния, которые оказываются на эти движения со стороны внешних предметов. В реальном же эмпирическом наблюдении мы имеем дело всегда с «фенотипом» данной реакции, который есть равнодействующая его врожденного состава и сил внешней среды.

Здесь, в этом пункте своей концепции, Скиннер сталкивается с самой, вероятно, сложной теоретической и методической проблемой — *проблемой идентификации данного оперантного ответа*. Она должна рассматриваться в двух аспектах — во-первых, как

⁵ С равным правом ее можно было бы назвать и абстракцией «готового», «твердого», «атомарного» или «генотипического» движения. Эта абстракция является одним из вариантов общей и коренной для всего бихевиоризма и рефлексологии абстракции «непредметного движения». Но об этом — речь впереди.

проблема отождествления нескольких в разное время происходящих реакций, во-вторых, как проблема временных границ, начала и конца данной оперантной реакции.

На идентификации разновременных реакций основывается весь массив экспериментальных исследований радикального бихевиоризма. В самом деле, если экспериментатор должен оценить изменение вероятности появления реакции, он должен быть уверен, что наблюдаемая им сегодня реакция животного есть та же самая реакция, которую животное осуществляло вчера. Предположим, в эксперименте исследуется оперантная реакция нажатия на рычаг, причем подкрепляются только нажатия с определенной силой F . Такая реакция и будет искомым оперантным ответом R_f . Если самописец, фиксирующий силу нажатия, достигает отметки F , значит произошла данная реакция R_f . Но все дело в том, что животному доступно практически бесконечное число движений $R_1, R_2, R_3, \dots R_n$, с помощью которых можно произвести одинаковое нажатие экспериментального рычажка. Схематически в векторном виде это можно изобразить так:



Что считать подкрепляемой реакцией R_f — операционально ли фиксируемый результат нажатия с определенной силой на рычаг или те **конкретные движения** животного $R_1, R_2, R_3, \dots R_n$ ⁶, которые приводят к этому результату? Последние не могут считаться подкрепляемыми реакциями, поскольку мы просто не знаем, какие (или какая) из них имели место во время данного эксперимента, и потому не можем судить, увеличилась ли их вероятность в результате подкрепления. Значит, за подкрепляемую реакцию следует принять некоторое гипотетическое движение R относительно которого невозможно утверждать, происходило оно в действительности или нет. Иначе говоря, об оперантной реакции мы судим только по ее результату, а не по ее реальному двигательному составу, и отождествляем в рамках данной экспериментальной ситуации все реакции, имеющие один и тот же результат. Следовательно, когда дело доходит до эмпирического наблюдения, оказывается, что оно не дотягивается до тех теоретически постулированных сущностей — оперантных реакций, которые представляют собой неизменные именно со стороны своего двигательного состава образования, изменяющие лишь вероятность своего возникновения в результате подкрепления. Мы никогда не можем быть уверены, что действительно произошла та же самая реакция, что и в прошлый раз, поэтому то, что мы экспериментально фиксируем в качестве оперантной реакции, ни в коем случае нельзя онтологизировать. И Скиннер, действительно, отказывается от попытки онтологизировать реакцию, а вслед за ней и рефлекс (*Skinner, 1931*)⁷. Нормальное

⁶ Класс таких реакций Скиннер называет оперантом (*Fester, Skinner, 1957*).

⁷ Но если не послушаться Скиннера и продолжить линию его экспериментов до онтологической плоскости, то там обнаружатся скандальные для правоверного бихевиоризма вещи. Вследствие оперантного обусловливания возрастает вероятность достижения животным определенного предметного результата. Однако чтобы достичь одного и того же результата (и Скиннеру об этом прекрасно известно — *Skinner, 1931*), животному приходится всякий раз осуществлять другое движение. Единственная возможность онтологически толковать эти факты

функционирование научной теории предполагает постоянное сличение теоретически выводимого и эмпирически наблюдаемого, а здесь между ними проводится непреодолимый барьер: как теоретик, Скиннер желает свести реакцию к определенному, фиксированному материальному составу; как экспериментатор, он получает нечто совсем другое. Вот и приходится, чтобы не рисковать исходными теоретическими убеждениями, отказываться сопоставлять эти две сферы, отказываться от онтологического толкования полученных экспериментальных данных, то есть от того, ради чего эксперимент, собственно говоря, и существует.

Однако без онтологии в положительной науке не обойтись, гони ее в дверь, она влетит в окно. И Скиннер вынужден жертвовать казавшейся такой надежной позитивистской приземленностью и пускаться, хоть и не в далекие, но от того не становящиеся более операциональными, метафизические путешествия в поисках предустановленной гармонии между поведением, существующим само по себе, и его оперантным анализом: «При описании поведения обычно предполагается, что поведение и окружающую среду можно разбить на части и что они будут сохранять свою идентичность от эксперимента к эксперименту. Если бы это предположение не было бы в некотором смысле оправданным, наука о поведении была бы невозможна... Анализ поведения не является актом произвольного подразделения, и мы не можем полностью определить понятия стимула и реакции просто как частей поведения и окружающей среды, не принимая во внимание тех естественных линий, вдоль которых поведение и окружающая среда действительно членятся» (*Skinner, 1935 a, p. 347*).

Но посмотрим, в какой мере метод оперантного обусловливания способен членить поведение по имманентным поведению «естественным линиям». При этом мы переходим к рассмотрению второго, временного аспекта проблемы идентификации оперантной реакции. Точнее, здесь следует говорить не о самой реакции, а о рефлексе, ибо вне рефлекса реакции нет, «вне отнесенности к своей корреляции со стимулами, поведение есть просто часть тотального функционирования организма» (*Skinner, 1931, p. 346*).

Если бы «тотальное функционирование организма» состояло из точечных атомарных реакций с нулевой длительностью, и если бы события окружающей среды также оказывали бы точечные, моментальные воздействия на организм, да к тому же, чтобы стать «стимулами», выстроились бы в колонну по одному и действовали бы друг за другом в строгой очередности, тогда в мире оперантного бихевиоризма можно было бы ожидать законосообразности и порядка: стимул — реакция, стимул — реакция, стимул — реакция. Однако существует два простых факта, которые вносят смуту в этот упорядоченный стимул-реактивный марш организма от рождения до смерти. Первый из них состоит в том, что множество стимулов возникает и действует на организм одновременно, равно как одновременно может осуществляться и множество реакций. Второй заключается в том, что и реакция, и стимул — не моментальные события, они имеют длительность.

Каким образом можно с учетом этих фактов идентифицировать определенный оперантный рефлекс $S_i - R_i$ по крайней мере, установить начало и конец данного рефлекса и его составных частей? Условимся обозначать буквой **a** начало действия стимула, а буквой **b** — окончание. Обозначим также начало и конец реакции буквами **x** и **y** соответственно. При таких обозначениях началом рефлекса является событие **a**, а концом — событие **y**. Идеальной для теоретических схем радикального бихевиоризма являлась бы ситуация, когда сразу же после **b** следует **x**, и тогда весь рефлекс в проекции на

состоит в необходимости признать, что оперантная реакция не сводима без остатка к материальной фактуре движения, что в ней кроме «сокращения мышц, растягивания сухожилий и движения костей» есть что-то еще, какая-то инстанция, изнутри конституирующая ее целостность, форму и организацию в данных конкретных обстоятельствах, стягивающая двигательный материал в орган уникальной встречи с миром, инстанция, которую можно назвать «целью», «моделью потребного будущего», «акцептором действия» и т.п.

временную ось складывается из двух интервалов — $(a - b) + (x - y)$. Изобразив «поле стимулов» выше оси времени, а «поле реакций» — ниже, получим следующую схему (см. схему 3а).

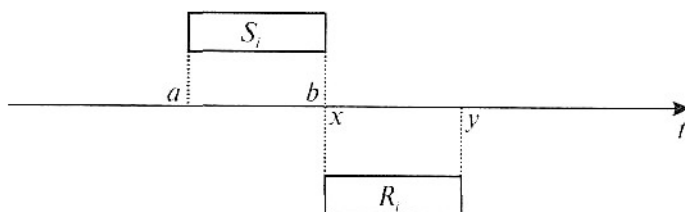


Схема 3а. Идеальные временные отношения между стимулом и реакцией в оперантном рефлексе

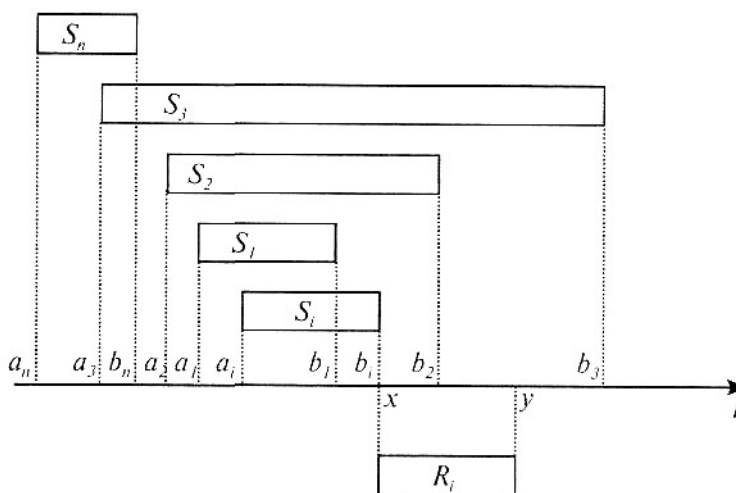


Схема 3б. Проблема идентификации временных границ начала оперантного рефлекса и начала оперантной реакции. На схеме над временной осью изображено множество стимулов разной длительности. Их объединяет лишь то, что любое $a < x$, то есть что начало стимула предшествует началу реакции

Бессмысленно ставить вопрос о том, какой именно стимул является «настоящим» — мы можем принять за него любой из них и в результате получим ряд рефлексов $(S_1 - R_i)$, $(S_2 - R_i)$, $(S_3 - R_i)$, ... $(S_n - R_i)$, вероятность которых изменится после подкрепления. Другими словами, точка b , момент окончания стимульного события, отнюдь не обязательно совпадает с точкой x , моментом начала оперантной реакции, точка же a , с которой следует отсчитывать начало рефлекса, из-за множественности стимулов и вовсе является неопределенной. Единственное, что возможно сделать для придания большей определенности началу оперантного рефлекса, — это ограничить временную область, в которой может начаться оперантная реакция, зафиксировав момент исчезновения последнего имевшего место безусловнорефлекторного стимула (подкрепления). Все, что произошло в окружающей среде после последнего безусловного стимула, может претендовать на статус S_i — стимула оперантного рефлекса. Это ограничение, впрочем, тоже страдает неопределенностью, поскольку вызванная подкреплением безусловная реакция может продолжаться и после того, как подкрепление исчезнет из стимульного поля, а как определить, где кончается эта безусловная реакция?

Не намного большей определенностью, чем начало, обладает и конечная точка оперантного рефлекса. По крайней мере здесь начисто отсутствует какая-либо внутренне

конституированная целостность реакции, задающая присущую ей границу. Оперантный ответ может быть прерван в любой произвольно взятой точке у появлением подкрепления — безусловного стимула, в ответ на который сразу же (впрочем, и это «сразу же» — отнюдь не очевидная вещь) начнет разворачиваться уже другая, безусловная, реакция. Появление подкрепления подводит черту под осуществляющейся оперантной реакцией. Но так как экспериментатор волен вводить подкрепление в любой момент, то тем самым он может прервать реакцию в любой произвольно выбранной точке, нисколько не считаясь с «естественностью» такого обрыва. Если поведенческая «речь» будет застигнута подкреплением на «полуслове» или даже посредине недописанной двигательной «буквы», оперантной реакцией будет считаться вовсе не это «слово» и не «буква», а искусственно оторванное подкреплением их начало. Что же остается тогда не только от благих намерений Скиннера «принимать во внимание те естественные линии, вдоль которых поведение действительно членится» (*Skinner, 1935 a, p. 347*), но и от самих этих линий?

Можно, конечно, было бы попытаться спасти природную целостность реакции как единицы поведения, если предположить, что, несмотря на появление подкрепления, реакция еще продолжается вплоть до присущей ей «естественной границы» и только там останавливается. Но на такой шаг Скиннер пойти не может, ибо в этом случае придется признать, что кроме фундаментальной схемы оперантного обусловливания $S_0 \rightarrow R_0 \Rightarrow S_1 \rightarrow R_1$ (где $S_0 \rightarrow R_0$ — оперантный рефлекс, скажем, нажатие на рычаг при виде рычага, $S_1 \rightarrow R_1$ — безусловный рефлекс, например, появление пищи и реакция ее поедания, а стрелкой обозначено отношение временной последовательности) существует такой вариант отношений между оперантной реакцией R_0 и подкрепляющим стимулом S_1 , когда действие S_1 начинается до того, как завершилась реакция R_0 . В проекции на временную ось эти отношения можно изобразить таким образом.

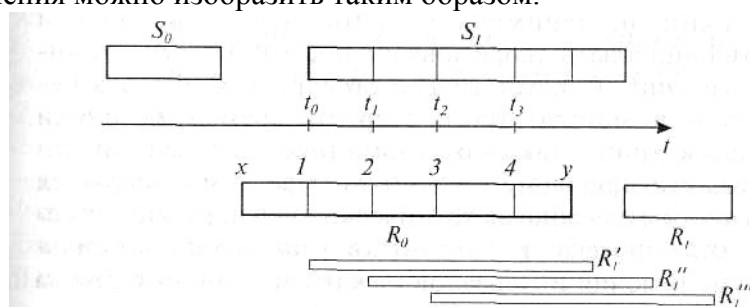


Схема 3в. Вариант временных отношений между оперантной реакцией R_0 и подкреплением S_1 . На схеме $S_0 \rightarrow R_0$ — оперантный рефлекс; S_1 — подкрепление (безусловный стимул); R_1 — безусловная реакция

В этом случае совершенно непонятно, что же именно «подкрепляется» в начале действия стимула S_1 . Может быть, только тот фрагмент реакции ($x \rightarrow 1$), который успел осуществиться до t_0 , начала действия подкрепления? А что подкрепляется в точке t_1 — фрагмент ли реакции ($1 \rightarrow 2$) или фрагмент ($x \rightarrow 2$)? Словом, степень неопределенности становится так высока, что рассыпается краеугольный камень радикального бихевиоризма — фундаментальная схема оперантного обусловливания с ее основным принципом следования подкрепления за оперантной реакцией. Понятно, что это была бы слишком дорогая цена за указанную попытку спасти естественную целостность реакции как единицы поведения.

Итак, вопреки декларациям Скиннера, эксперимент оказывается не прибором, с помощью которого можно объективно наблюдать естественные части поведения, а ножницами, кроющими это поведение как заблагорассудится. И остается только слепо верить, что ножницы эксперимента по какому-то мистическому стечению обстоятельств точно попадают на швы между отдельными поведенческими актами.

Таким образом, и при рассмотрении временного аспекта обсуждаемой проблемы оказывается, что скиннеровский эксперимент не способен улавливать и

идентифицировать теоретически постулируемые единицы поведения. Следует только оговориться, что эта неспособность метода строго очертить временные рамки реакции и решить таким образом стоящую перед ним теоретическую проблему в какой-то мере компенсируется достаточным для многих технических целей резким сужением зоны протекания оперантной реакции за счет сильного уменьшения интервалов между следующими друг за другом подкреплениями. Поэтому, кстати сказать, в качестве положительного подкрепления при дрессировке животных Скиннер рекомендует пользоваться не пищей, поскольку ее невозможно быстро предъявить и поскольку придется ждать окончания безусловного реагирования, а условным сигналом о пище (Skinner, 1951).

Резюмируем сказанное относительно понятия оперантного рефлекса. Зона протекания оперантной реакции ограничивается (но не очерчивается) двумя следующими друг за другом безусловными стимулами. Это другая формулировка того положения, что оперантная реакция осуществляется в условиях отсутствия безусловного стимула и вне данности животному связи его реакции с возможным появлением подкрепления. То есть оперантная реакция не осуществляется **«ради чего-то»**, иначе говоря, не подлежит действию *целевой* причинности. Не происходит она и **«потому что»** появился некоторый стимул или возникла определенная потребность⁸, то есть за ней не стоит и *действующая*⁹ причина. **Материальный** состав реакции (то есть те конкретные движения, которые вызвали наблюдаемое перемещение рычажка или другое действие) является неопределенным, а ее конкретная **форма** задается случайно, внешним образом — прерывающим реакцию появлением подкрепления, то есть о *материальной* и *формальной* причине оперантной реакции говорить тоже не приходится. Итак, понятие оперантной реакции ни в одном пункте не несет причинного характера. Оперантный рефлекс только вероятностен, это — поведенческая случайность.

3. Предмет исследования — оперантное приспособление организма к среде

В современной методологии уже стало общим местом, что предмет научного исследования — это не просто некоторая область действительности, а содержательная абстракция, выделяющая и описывающая определенный аспект этой области и задающая форму и характер ставящихся в ней проблем.

Чтобы определить предмет исследования радикального бихевиоризма, нужно описать, как в этой теории представляется основной механизм приспособления организма к среде и каково представление о самой этой среде.

Из предыдущего изложения ясно, что центральный вопрос, который стоит перед Скиннером, заключается в объяснении того, как из случайных движений, являющихся частями «тотального функционирования организма», из движений, которые содержательно никак не связаны с условиями среды, не меняются в процессе жизни особи и являются, так сказать, двигательными «выбросами» организма, как из этих движений возникает поведение, поддерживающее существование животного и внешне кажущееся «целесообразным».

Рассматривая понятие оперантного ответа, нетрудно заметить его сходство с биологическим понятием мутации. Оперантный ответ так же относится к онтогенезу, как мутация к филогенезу. И Скиннер действительно считает, что процесс индивидуального приспособления следует мыслить по образцу приспособления видового (а последнее — как процесс случайный, строго по Дарвину). Движение точно так же, как мутация, может случайно оказаться выгодным организму и будет в этом случае подкреплено, так что вероятность его осуществления в будущем поведении возрастет. Процесс

⁸ «Мы не можем назвать отдельной единой инстанции, вызывающей реакцию» (Skinner, 1935 а).

⁹ Мы пользуемся здесь учением Аристотеля о четырех видах причин — целевой, действующей, материальной и формальной (Аристотель, 1975).

индивидуального приспособления превращается в «естественный отбор» случайных движений организма (а процесс обучения, соответственно, в «искусственную селекцию» этих до и независимо от всякого обучения и тренировки сложившихся движений). В функциональном плане поведение в каждый данный момент будет представлять собой слепую пробу, которая при благоприятном стечении обстоятельств может случайно (хотя, быть может, и с очень большой вероятностью) оказаться целесообразной.

Какой должна быть среда животного, чтобы такой механизм приспособления был необходимым и достаточным для обеспечения его жизнедеятельности?

Условием, задающим *необходимость*, является такая организация среды, при которой отсутствует всякая данность животному в какой-либо чувственной форме жизненно важных для него объектов («подкреплений») и способа их возникновения в стимульном поле. А раз так, раз появление этих объектов всегда является непредвиденной случайностью — либо «чудесным даром», либо «иррациональной карой», появляющимися из некоторой трансцендентной реальности принципиально не прослеживаемым образом, то, естественно, животное вынуждено действовать «наобум», производить слепые пробы. Коль скоро приходится действовать в абсолютной темноте, когда невозможно наблюдать за тем, как именно твои действия приводят к хорошим или плохим результатам, ничего другого не остается, как превратиться в суеверное существо¹⁰,

¹⁰ У Б.Ф. Скиннера есть статья, которая так и называется «"Суеверие" у голубей» (*Skinner*, 1938). В этой работе он еще и еще раз утверждает, что обусловливание происходит только в силу временных отношений последовательности между реакцией и подкреплением, совершенно независимо оттого, вызывает ли реакция появление подкрепления в результате какой-то предметной связи или нет.

В эксперименте перед голубем вращался частично выдвинутый из-за стенки диск, в одном месте которого лежал корм. Пока корм проходил мимо, птица клевала его и, естественно, поворачивалась по ходу вращения диска. Когда корм уходил из поля зрения, голубь продолжал поворачиваться, как бы «веря», что его движения вызывают появление корма. «Эксперимент, — убеждает Скиннер, — продемонстрировал своего рода суеверие. Птица ведет себя так, как если бы существовала каузальная связь между поведением и появлением пищи, в то время как таковая отсутствует» (там же, р. 407).

Скиннер полон здесь пафоса разоблачения детерминистских иллюзий. Но что, собственно, доказывает этот эксперимент? Что птица является настолько высокоразвитым существом, что его можно обмануть, — камень не обманешь, а вот птица способна вести себя как бы суеверно, когда биологически иррационально организована среда.

В мире есть место случайности, и ответом животного на объективную случайность являются слепые, случайные пробы, но из этого вовсе не следует, что все поведение животного может быть сведено к этим случайным пробам. Радикальный бихевиоризм не раз обвиняли в дегуманизации человека, но для него *это* обвинение — просто поблажка, философское преступление, которое может быть инкриминировано теории, куда серьезней — это деанимизация животного. Скиннер заставляет животное действовать как механизм, а не живое существо. Дух изобретательства, мучивший Скиннера с детства, кажется, обслуживал какую-то сверхценную фантазию, требовавшую создать механизм, который был бы полностью послушен воле создателя, но двигался бы при этом совершенно самостоятельно. «Я всегда что-то строил, — вспоминает Скиннер детские годы. — Я строил роликовые самокаты, управляемые вагоны, санки и массу всего, чем можно было управлять в мелких водоемах. Я делал качели, карусели и горки. Я делал рогатки, луки и стрелы, духовые ружья и водяные пистолеты из бамбука, а из старого парового котла — паровую пушку, из которой мог стрелять картофельными и морковными снарядами по соседским домам. Я делал волчки, чертенят, модели аэропланов, движимые скрученной резиной, воздушных змеев и жестяные пропеллеры, которые можно было запускать в воздух при помощи катушки и веревки. Снова и снова пытался я сделать планер, чтобы полетать самому... Много лет я трудился над вечным двигателем. (Он не работал.)» (*Skinner*, 1967. — Цит. по: Холл, Линдсей, 1997, с. 614). «Он не работал» — этот вздох сожаления, сдерживаемый ребрами скобок, выдает контролируемую, но так и не утоленную страсть. Животные в эксперименте Скиннера по сути оказались не более чем очень удобной деталью самодвижущихся установок. Особенно показателен в этом отношении скин-неровский проект 1960-х годов, по которому голуби должны были помещаться в самонаводящиеся ракеты и обеспечивать их попадание в цель. Ладно бы еще крыса, но голубь — этот символ мира, управляющий смертоносным оружием, — такой

действующее не на основе знания и опыта, а на основе случайных совпадений.

Что касается *достаточности* «случайного» приспособления, то она могла бы быть гарантирована двумя условиями. Первое из них состоит в том, что среда должна обладать конечным набором ситуаций, а животное — равнопорядковым этому набору репертуаром движений. Второе — в том, что среда должна обладать стабильностью, хотя бы временной. Тогда во время очередного стабильного периода перераспределением вероятностей входящих в репертуар организма оперантных рефлексов можно было бы достичь приспособления к среде.

И последнее: «Чтобы быть эффективным, подкрепление должно предлагаться почти одновременно с желаемым поведением» (*Skinner*, 1951, p. 413). Если мы наблюдаем некоторое развертывающееся движение, то, по логике Скиннера, преимущественно подкрепляется завершающая его часть, непосредственно предшествующая появлению подкрепления; а значит, если это движение достаточно долговременно, то начальные его части не подкрепляются, и «возникающее в результате угасание аннулирует влияние подкрепления» (*Skinner*, 1938). Каким образом? Например, первая часть движения составляет необходимое звено для осуществления завершающей части, и тогда рост вероятности последней, который является следствием подкрепления, будет ограничен низкой вероятностью начального этапа.

Отсюда следует, что для того, чтобы приспособление на основе оперантного обусловливания было эффективным, среда должна предоставлять животному подкрепление очень часто, разбивая его поведение на мелкие участки.

При этом, разумеется, предполагается, что поведение — это либо цепочка рефлекторных актов, либо недифференцированный поток «тотального функционирования», то есть что отсутствует внутренний механизм, стягивающий для животного все это долговременное движение в нечто единое.

Так, из позитивистского пуризма отбросив идею инстанции, внутренне конституирующей целостность поведенческого акта (будь то потребность, цель, «модель потребного будущего» и т.п.), Скиннер загнал свое мышление в необходимость метаться между идеей атомарной дискретности поведения, состоящего из врожденных двигательных атомов, и идеей недифференцированной континуальности поведения, произвольно разделяемого на любые доли очередными подкреплениями.

Итак, среда в онтологии радикального бихевиоризма представляется как

а) перенасыщенная подкреплениями, состоящая почти сплошь из кнутов и пряников, которые ведут животное на коротком поводке, не дают ни минуты передышки, не доверяя его нюху, ориентировке, инстинкту, опыту, хитрости и прочим несуществующим вещам;

б) состоящая из стандартного набора положений, к каждому из которых в поведенческом арсенале животного имеется подходящий ключик — врожденная, готовая и неизменная реакция;

в) трансцендентная опыту животного, закрытая непроницаемой завесой от перцептивного и действенного исследования и в этом смысле абсолютно иррациональная, непредсказуемая, откликающаяся в лучшем случае вероятностно на обращенные к ней поведенческие «реплики». Словом, не только животное рассматривается радикальным бихевиоризмом как «черный ящик», но и мир, с которым имеет дело животное, — тоже оказывается «черным ящиком». Так собственный позитивистский гносеологический образ проецируется в онтологию.

эстетической нечуткости можно ожидать только от изобретателя вечного двигателя. Так и видится нездоровый блеск глаз, так и слышится характерный пафос, от которого добра не жди: «Использование животных организмов — в пилотировании ракеты больше — скажем это беспристрастно — не сумасшедшая идея. Голубь — удивительно тонкий и сложный механизм, способный осуществлять то, что можно сейчас заместить лишь куда более громоздким и тяжелым оборудованием...» (*Skinner*, 1960. — Цит по: *Холл, Линдсей*, 1997, с. 650). «Сложный механизм» — какова похвала голубю! Хорошенькое утешение пернатому камикадзе!

4. Объект исследования

Однако реальные условия среды обитания и характер поведения в ней животного¹¹ существенно отличаются от только что описанных. Во-первых, поведение в большинстве случаев разворачивается при чувственной данности животному жизненно важному объекту. Поведение строится, «имея в виду» (часто — в буквальном смысле слова) искомый объект и предметные условия его достижения, и в столкновении с этими условиями перестраивает свои характеристики так, чтобы движение достигло цели. Поведение вовсе не представляет собой цепочки бессмысленных, наугад, как в лотерее, выпадающих друг за другом двигательных проб, рано или поздно «наталкивающих» на счастливый номер — безусловный раздражитель (подкрепление).

Во-вторых, как отчетливо показал Н.А. Бернштейн, животные, ведущие подвижный образ жизни, сплошь и рядом имеют дело с уникальными ситуациями. Например, при преследовании жертвы все многочисленные характеристики ее движения, рельефа местности, различных помех и препятствий, многочисленные инерционные силы в теле хищника как сложной динамической системе создают для последнего настолько особенную ситуацию, что подкрепление всего комплекса произведенных им движений было бы не только биологически бесполезным, но даже вредным, поскольку вероятность точного повторения данной ситуации практически равна нулю, а закрепление только самого последнего поведенческого отрезка привело бы к тому, что хищник при появлении соответствующих стимулов с очень большой вероятностью совершал бы точно такие же, как и в предыдущем случае, движения заключительной фазы погони и, естественно, в новой ситуации неминуемо промахивался бы.

В-третьих, в большинстве случаев среда не предоставляет животному ежесекундных подкреплений.

Вот три принципиальных отличия реального объекта исследования поведенческих дисциплин (реального поведения в реальной среде) от того представления о нем, которое характерно для радикального бихевиоризма.

5. Метод

Скиннер справедливо обвинял Павлова в создании «концептуальной» нервной системы, а сам, как мы видим, создал «концептуальную» среду. Впрочем, он находился в гораздо более выгодном положении, потому что вполне мог воплотить и воплотил эту концептуализацию в реальный материал экспериментального метода.

Для того, чтобы эмпирически исследовать *оперантное приспособление организма к среде* (предмет радикального бихевиоризма), необходимо было *естественную жизнедеятельность животного* (то есть реальный объект исследования) уложить в прокрустово ложе идеального объекта — *обусловливаемого в результате подкрепления оперантного рефлекса*. Для этого достаточно произвести два «усечения»: во-первых, устранить всякую возможность целеустремленного поведения; во-вторых, создать «стабильную среду». Оба эти условия достигались помещением животного в знаменитый скинне-ровский ящик. Набор предметных ситуаций таким образом резко ограничивался, а возможность целенаправленности поведения устранялась сокрытием подкрепления во время осуществления движения и случайным (для животного, но произвольным для экспериментатора) его предъявлением.

При этом экспериментальное разрешение основной теоретической проблемы — как из отдельных случайных реакций образуется многосоставное, внешне кажущееся целесообразным, приспособленное к среде поведение — не составляло никакого труда: всякое заранее задуманное экспериментатором поведение могло быть «построено» им (а не животным!) за счет подкрепления любого движения, разворачивающегося в желательном направлении. Так поле естественных причинных следствий поведения замещалось искусственными, «условными» связями.

¹¹ Здесь, конечно, надо бы говорить об определенных видах, а не о животном вообще.

Здесь уместно сказать несколько слов о трактовке проблемы обучения у Скиннера. «Цель обучения он определяет как получение заранее намеченной (запрограммированной) системы внешних реакций, в терминологии Скиннера — набора поведений» (*Талызина, 1975*). Единственный критерий обученности — правильность заданной внешней реакции (*там же*). Главный принцип созданного Скиннером варианта программированного обучения состоит в том, чтобы разбить учебный материал на как можно большее число предельно малых шагов, максимально увеличив таким образом частоту подкреплений и «...снизив до минимума возможные отрицательные последствия допускаемых ошибок» (*Скиннер, 1968, с. 42*). Идеальной с этой точки зрения была бы такая программа, где учащийся не испытал бы ни одного затруднения, не совершил бы ни одной ошибки. За идеей такого «безошибочного» обучения лежит представление о врожденном репертуаре двигательных возможностей. Все отдельные ответные реакции предполагаются у обучающегося уже наличными (а если какой-то из них нет, значит, нужно продолжить дробление учебного материала до тех пор, пока на каждый его фрагмент не найдется адекватная реакция, пусть даже придется довести дело до сокращения отдельных мышц — ведь никаких принципиальных ограничений здесь нет), он уже все умеет, единственная задача — сцепить данные реакции в заданные последовательности. Так младший школьник в принципе мог бы овладеть, скажем, курсом физики для средней школы, если программа этого курса будет достаточно раздроблена. Что лежит в основе такого «овладения» — бессмысленное запоминание или содержательное понимание, что образуется в результате — понятия или пустые вербализмы, лишь по внешней форме совпадающие с ними, — все это остается неизвестным, таких различий не существует в плоскости оперантной теории.

Нужно особо подчеркнуть показательность для скиннеровской методологии идеи минимизации шагов обучения и частого, так сказать, поточечного подкрепления. Хотя в реальной практике программирования дробление учебного материала проводится, конечно, до определенного предела, диктуемого свойствами самого этого материала, но теоретически метод Скиннера содержит возможность бесконечного членения поведения, ибо целостность единицы поведения конституируется здесь не предметной целью, а задается внешним образом появлением подкрепления.

Здесь снова и снова Скиннер оказывается в тупике перед решением главной проблемы поведенческих дисциплин — проблемы единиц поведения. Доведенная до абсурда идея неограниченного дробления поведения (а никаких принципиальных ограничений Скиннер не предлагает) выдает представление о деятельности животного и человека как об аморфном, гомогенном процессе, не имеющем внутреннего строения. Ибо то, что закономерно структурировано, невозможно членить на произвольные части. Нельзя бесконечно дробить поведенческий процесс, не рискуя разрушить его.

Сравнительный методологический анализ теории условных рефлексов и теории оперантного обусловливания

Подобно тому, как за явным содержанием сновидения психоанализ обнаруживает скрытое его содержание, так и за сознательной онтологической картиной, имеющейся у данного исследователя, кроется некоторая «действительная» онтология. Ее составляют глубинные убеждения о строении изучаемой области действительности, «самоочевидные» методологические постулаты и принципы. Явно же эксплицируемая онтология и теория являются результатом их вторичной переработки, в которой вопроса об истинности этих постулатов даже не возникает, они как нечто само собой разумеющееся оказываются вне поля критического обсуждения. Задача методологической критики как раз и состоит в выявлении содержания этого скрытого пласта научного мышления. И так же, как в психоаналитической практике, результаты такого толкования могут показаться автору и адептам анализируемой теории нелепым ее искажением, которое невозможно ни понять, ни принять. Но это непонимание относится уже действительно к области психологии

личности, а не методологии и науковедения.

Хотя первичная онтологическая картина радикального бихевиоризма и учения о высшей нервной деятельности одна и та же — это схема «организм—среда», — но реальная исследовательская практика обеих концепций свидетельствует о чрезвычайно непохожих понятийных образах как организма, так и среды.

Мы уже видели (см. главу 2.2), что И.П. Павлов редуцирует живой организм до ЦНС, а реальную телесную деятельность животного до функционирования ЦНС (в особенности до высшей нервной деятельности, которая понимается как функция коры больших полушарий). Фантазия, воплощенная в теории условных рефлексов, похлеще гоголевской: какой-нибудь вполне респектабельный господин Нос, разгуливающий по улицам, — детские шалости по сравнению с такими монстрами, как вышедшие на охоту Нервные Узлы. С бесстрашием настоящего натуралиста И.П. Павлов наблюдает, как нервные узлы «тонко и точно **приспосабливают** свою деятельность к внешним условиям, ищут пищу, где она есть, верно избегают опасности». Да и как может быть иначе, если «последняя инстанция движения — клетки передних рогов спинного мозга» (Павлов, 1951, т. 3, кн. 2, с. 141 — 142), а вовсе не соприкосновение конечности с объектами и даже не сокращение мышц. Выходит, что действительным субъектом павловской онтологии является вовсе не «организм», а очищенная от мышц, сухожилий и прочего телесного состава центральная нервная система, даже — головной мозг по преимуществу. Итак, субъект павловской онтологии — «бестелесный мозг».

Б.Ф. Скиннер, в угоду своим позитивистским убеждениям, производит не менее радикальную чистку понятия «организм»: как обыватель он, конечно, знает, что существует сложное анатомическое строение и физиологическое функционирование организма, но как бихевиорист он принципиально отказывается видеть, что «за кожей» есть что-то, что существенно влияет на наблюдаемое поведение животного. Если бы материализовалась гносеологическая абстракция «пустого организма», мы стали бы свидетелями картины, не менее жуткой, чем разгуливающие по павловской онтологии нервные узлы, — навстречу им из скиннеровского ящика вышли бы, как привидения, выпотрошенные голуби и крысы.

Каков мир, в котором живут персонажи рефлексологических и бихевиористских триллеров?

Ясно, что «бестелесный мозг» не может обитать среди реальных, материальных вещей — пищи, которую нужно добыть, хищников, столкновения с которыми нужно избежать, преград, которые нужно преодолеть. Все это в павловской онтологии замещается сигналами, условными и безусловными, с материальными объектами субъект этой онтологии не взаимодействует, он имеет дело лишь с их информационным суррогатом¹². На внешний, вещный мир (как и на телесное движение животного в этом мире) надевается шапка-невидимка павловского метода, делающая мир невидимым, прозрачным, как стекло, сквозь которое можно наблюдать за мозговыми процессами, не замечая самого стекла. Как и организм, среда подвергается гносеологической чистке, безжалостно освобождается от познавательно вредных, плотных, телесных, материальных, чувственно воспринимаемых компонентов. Ради «гносеологической прозрачности» (В. Набоков) среда по существу опустошается. То есть «бестелесному мозгу» как субъекту онтологии соответствует лишенный плотности, прозрачный и призрачный, «пустой мир» как среда обитания этого субъекта.

Но если, напротив, организм «пуст», как это постулируется в онтологии радикального бихевиоризма, если все его интересные для исследователя процессы

¹² Этот образ «среды» напоминает не реальное биологическое пространство жизни животного, а какую-то биологическую антиутопию. Увы, в отличие от утопий антиутопии имеют свойство сбываться. Индустрия виртуальности дала сейчас целое поколение нервных мальчиков, героев компьютерных игр, для которых информационная компьютерная реальность обладает достоинством действительности в большей степени, чем реальность телесно-материальная.

жизнедеятельности локализованы не внутри, а вовне, по эту сторону кожи, естественно было бы ожидать, что такой дорогой ценой отказа от внутреннего куплено обостренное внимание к конкретным внешним формам взаимодействия животного с окружающей средой и, значит, к самой этой среде в ее материальном, предметном, биологически значимом виде. Но нет, научный взор Скиннера прикован к другому, к тому, дрогнет ли рычажок (или произойдет какое-либо иное заранее задуманное событие в экспериментальной установке) и как будет меняться частота сдвигов этого рычажка, если экспериментатор станет по известному ему плану «вбрасывать» внутрь своего устройства те или иные «подкрепления»¹³.

Поэтому реальная поведенческая среда, место, где решается судьба поведенческих актов животного, есть... сознание экспериментатора, то есть экспериментальный замысел и план проводимого эксперимента, в котором заранее однозначно определены все заповеди поведения и расписаны награды и кары, сыплющиеся на животное за их исполнение и нарушение или даже вне всякой связи с ними. Этот, может быть, вполне разумный с точки зрения самого бихевиориста мир, с позиции животного, конечно, является иррациональным, темным, непредсказуемым¹⁴, он скрыт от животного непроницаемой завесой экспериментального ящика¹⁵.

Итак, если среда павловской онтологии есть прозрачный, «пустой мир», то среда скиннеровской онтологии, напротив, — «непрозрачный», темный, непознаваемый мир.

Последний и основной пункт методологического сопоставления учения о высшей нервной деятельности и оперантного бихевиоризма — научные представления обеих систем о процессе жизни организма в среде, о поведении, о том, что обеими объявляется главным предметом исследования.

Павлов последовательно отождествил ВИД и внешнее поведение животного¹⁶, и это тождество, возможное лишь при отвлечении от предметного характера двигательных актов животного, привело к тому, что поведение было редуцировано до функционирования одного органа — коры больших полушарий. Зная законы функционирования мозга, мы знаем законы внешнего поведения. Эта гносеологическая редукция, воплощенная в павловском методе, свела живое, предметное, гибкое, преодолевающее среду поведение живого существа к поведению паралитика.

Если бы вся жизнь собак, участвовавших в павловских экспериментах, стала такой,

¹³ Скиннер напоминает рыболова, все внимание которого вовсе не на рыбе — на поплавке. Возможно, там, внутри экспериментального ящика, у животного есть какая-то своя жизнь, но она объявляется непознаваемой вещью в себе.

¹⁴ Такое впечатление, что Скиннер, сам того не ведая, сценически воплощает в материале экспериментального метода кальвинистскую теологию, в особенности учение об «абсолютном предопределении», по которому каждый человек изначально предопределен ко спасению или гибели и никакие его усилия не могут изменить этого. Так и поведенческий акт животного в скиннеровской модели окажется успешным (или неуспешным) не благодаря силе и ловкости животного, а по одному только предопределению экспериментатора, произвольно решающего, что именно и когда подкреплять.

¹⁵ Заметим, кстати, что непроницаема эта завеса в обе стороны: радикальный бихевиорист в качестве строгого ученого не заглядывает внутрь экспериментальной установки, а следит за показаниями приборов вовне. Так идея «пустого организма», нежелание гадать, что «за кожей», приводит к тому, что «кожей» становятся не границы тела животного, а граница экспериментальной установки; животное оказывается в радикальном бихевиоризме не «черным ящиком», а лишь гносеологически невидимой деталью «черного ящика», который по сути совпадает с экспериментальным скиннеровским ящиком. Тут уж у элементов схемы «организм—среда» остается мало общего с соответствующими биологическими категориями в их классическом понимании: роль «организма» начинает исполнять «экспериментальная установка», а роль «среды» — сам радикальный бихевиорист.

¹⁶ Даже название одного из итоговых трудов академика («Двадцатилетний опыт изучения высшей нервной деятельности (поведения) животных» — Павлов, 1973) прямо указывает на это отождествление. Поведение было заключено в скобки как «ненаучный» синоним понятия «высшая нервная деятельность».

какой она рисовалась на страницах научных трудов, бедные животные погибли бы от зависти, глядя на живых псов, охраняющих дом, гонящихся за настоящими кошками, разгрызающих настоящую кость, в то время как сами несчастные жертвы мозгового фетишизма — «условно-рефлекторные» собаки вынуждены довольствоваться только условными и безусловными сигналами об этих славных вещах, а из реального поведения позволять себе только одно — пускать слюни.

Устанавливать условные связи между безразличными сигналами и сигналами безусловными, чтобы можно было отдать эфферентный приказ реагировать отныне и на этот, ставший теперь условным сигнал той же врожденной готовой реакцией, что и на сигнал безусловный, — вот и все «поведение», доступное «бестелесному мозгу».

Увы, не больше **поведения** доступно существу, порожденному радикальным бихевиоризмом. Да чего, собственно, ждать от «пустого организма», помещенного в темную непрозрачную среду, кроме хаотических слепых двигательных выбросов, лишенных даже, строго говоря, качества «слепой пробы», ибо в понятие пробы включено пусть самое примитивное, но идеальное опережающее отражение, готовность извлекать и накапливать опыт.

Итак, в павловской модели субъект поведения сведен к «бестелесному мозгу», в скиннеровской — к «безмозглой телесности», само же поведение сведено в первом случае к «зрячему параличу», во втором — к «слепому движению».

При всех различиях этих концепций, доходящих до противоположности, они чрезвычайно похожи, как похожи в фотографии негатив и позитив. Скиннер — это Павлов наизнанку.

Но в чем же корень этого так явственно чувствуемого родства концепций? Он заключается, на наш взгляд, в игнорировании **предметного характера движения**.

Ни та, ни другая теория не знают управляемого животным телесно-предметного двигательного акта. Действительный **предметный** характер связи между реакцией животного и достижением биологически значимого результата (подкрепления) гносеологически игнорируется в обеих концепциях. Обе они не видят, что движение животного контактирует с предметом, что текущие характеристики движения при этом изменяются, что предмет существует для осуществления движения, что предмет и движение смыкаются в одно образование, не только физическое, но и психофизиологическое. Не видят, что движение может внутренне подлаживаться, подстраиваться под предмет, а не только вынужденно, физически подчиняться его грубой силе с тем, чтобы после окончания взаимодействия тут же вернуться к исходному состоянию. То есть не видят, что движение перестраивается и даже развивается в ходе и в результате своего взаимодействия с предметом.

Подобно тому, как Павлов смотрит сквозь реакцию на мозг, не замечая существенности влияния двигательных реакций на само функционирование мозга, так Скиннер смотрит сквозь предметы и их изменения на оперантные реакции, не замечая существенности предметов для осуществления и формирования реальных двигательных оперантных реакций. Как для Павлова реакция — не более чем индикатор «чистых» мозговых процессов, так для Скиннера предметное изменение (например, смещение рычажка) — не более чем индикатор «чистой» оперантной реакции. Скиннер, как уже говорилось, обвинил Павлова в создании «концептуальной» нервной системы и был прав, но сам он создал «концептуальную» среду и «концептуальное» поведение, состоящее из фиктивных реакций — «оперантов», врожденных двигательных актов, «химически» чистых поведенческих атомов, полностью готовых к жизни до и независимо от реальной встречи животного с миром. Павлов в любой момент готов отказаться от реакций, от внешнего поведения животного, если ему предоставят возможность непосредственно наблюдать мозговые процессы; Скиннер отдал бы все, чтобы хоть одним глазком взглянуть на те постулируемые им «априорные» двигательные атомы, на те «естественные» частички поведения, которые организм наобум «испускает» в среду, получая

впоследствии подкрепление, и которые доходят до исследователя всегда в замутненном предметным миром виде. Если бы дано было им просить невозможного, Павлов попросил бы очищенный от тела, но(!) нормально функционирующий мозг, Скиннер попросил бы очищенную от предметных сил среду, в которой, тем не менее(!), животное могло бы осуществлять движения.

Пики славы обоих ученых пришлись на XX столетие, хотя и отстоят друг от друга на полвека¹⁷. Несмотря на это, оба они по философскому складу своего мышления — представители научного классицизма XIX века. В этом классическом мышлении организм и среда (движение и предмет, субъект и объект) сначала изображались в онтологической картине как заведомо отдельные сущности, а лишь затем ставился вопрос о том, как организм устанавливает связь со средой. Обыденная «очевидность» отделенности живого организма от мира бралась за исходное методологическое положение, которое в самом главном предопределяло дальнейшее развитие научной мысли. В первую очередь, из него вытекало представление о некоторых предданных относительно индивидуального опыта организма формах реагирования, образовавшихся до и независимо от всякого деятельного соприкосновения со средой, которые в этом, уже готовом виде только запускаются определенной внешней стимуляцией, — о таких формах реагирования как о единственной основе, на которой строится все последующее поведение животного. Это представление выражалось у Павлова в мечте иметь полную номенклатуру врожденных безусловных рефлексов, у Уотсона и Скиннера — в представлении о репертуаре элементарных реакций, из которых складывается любое самое сложное поведение. Такие готовые, твердые двигательные формы при объяснении того, как из них складывается целесообразное поведение, легко переходят в мышлении рефлексолога или бихевиориста в каком-то смысле в свою противоположность — в представление об изначально хаотических, недифференцированных двигательных реакциях, из подкрепления которых-де и складывается целесообразное поведение. Абстракции, с которыми мы встретились на этих страницах, — абстракции «готового движения», «простого движения», «слепого движения» сходны всего лишь в одном, но главном: в них нет инстанции, способной придавать движению внутреннюю цельность и структурированность, нет механизма, способного гибко подстраивать эту целостность под реальную предметную ситуацию, то есть нет того, что, собственно, и превращает движение в поведенческий акт, — субъективной мотивированности и объективной предметности.

Только движение, страстно направляемое живым существом и внутренне просветленное отражением текущих встреч с предметной реальностью, заслуживает имени поведения. Не случайно само слово «поведение» несет в себе идею управления на основе знания: вести и ведать.

¹⁷ А слава была и остается нешуточной. Академик И.П. Павлов стал первым из русских ученых лауреатом Нобелевской премии (1904). (Забавно, что именно в 1904 году родился Б.Ф. Скиннер.) Вплоть до последнего времени за рубежом самым известным из отечественных психологов(!) был никто иной, как физиолог И.П. Павлов. В 1971 году Американская психологическая ассоциация признала Бурхуса Фредерика Скиннера «самым влиятельным психологом в США» и «крупнейшим психологом всех времен после Фрейда» (журнал «Америка», 1972, № 194). Несмотря на помпезную безвкусицу, эти титулы кое-что да значат.

3.2 От психологической практики к психотехнической теории

*Камень, который отвергли
строители, соделался главою угла*

Пс. 117, 22

Практическая психология и психологическая практика

Отечественная психология так резко изменилась за последнее десятилетие, что кажется принадлежащей к другому “биологическому” виду, чем психология образца 1980 года. Происходящие “мутации” заметны даже в сонной атмосфере официальной академической психологии, а уж в стихии социальной жизни от них просто пестрит в глазах: появился массовый рынок психологических услуг - индивидуальное консультирование и психотерапия, детская игровая психокоррекция, развитие памяти и воображения, тренинги менеджеров и депутатов, семейная терапия и пр. и пр.

Но в чем, спросят, такая уж принципиальная новизна? Разве это не простое расширение давно существующей прикладной, практической психологии? В том-то и дело, что у нас была именно и только прикладная, практическая психология (т.е. приложения психологии к различным социальным сферам, по имени этих сфер и получавшие свои названия - педагогическая, медицинская, спортивная, инженерная и т.д.), но не было психологической практики (т.е. особой социальной сферы психологических услуг). Будь, например, здравоохранение таким, какой еще совсем недавно была психология, у нас было бы несколько академических медицинских институтов и факультетов, сотни медицинских кафедр в вузах, различные отрасли медицины, от молекулярной до космической, и на всю страну - ...две поликлиники и десяток подпольно практикующих врачей.

Множащиеся сейчас психологические службы - это не просто еще одна отрасль практической психологии, наряду с названными. В них и через них отечественная психология наконец-то становится самостоятельной практической дисциплиной. Это историческое для судьбы нашей психологии событие. В 20-х годах, когда психология впервые столкнулась с высокоорганизованной практикой - промышленной, воспитательной, политической, военной, - Л.С.Выготский увидел в этом факте источник такого значительного обновления психологической науки, что психолог, по его словам, мог бы сложить гимн новой практической психологии. Но если это было справедливо для практической психологии, т.е. для включения психологии в существующие виды социальной практики, то это трижды справедливо для произошедшего на наших глазах рождения собственно психологической практики. Значение психологической практики для психологии трудно переоценить. Психологические службы не просто “важны” для психологии, она обретает в них свое тело, не больше и не меньше. Психологические службы для психологии то же, что школа для педагогики, церковь для религии, клиника для медицины. Психологическая практика - источник и венец психологии, альфа и омега, с нее должно начинаться и ею завершаться (хотя бы по тенденции, если не фактически) любое психологическое исследование.

В чем же отличие психологической практики от практической психологии? В том, прежде всего, что первая - “своя” для психологии практика, а вторая - “чужая”. Цели деятельности психолога, подвизающегося в “чужой” социальной сфере, диктуются ценностями и задачами этой сферы; непосредственно практическое воздействие на объект (будь то личность, семья, коллектив) оказывает не психолог, а врач, педагог или другой специалист; и ответственность за результаты, естественно, несет этот другой. Психолог

оказывается отчужденным от реальной практики, и это ведет к его отчуждению от собственно психологического мышления.¹⁸

Не вспомнить ли здесь одну из главных аксиом марксизма: “бытие определяет сознание”? Реальное бытие практического психолога в сфере той или другой практической деятельности определяет его профессиональное сознание, вынуждает мыслить так, как этого требуют задачи, цели и традиции этой сферы: образуется мощная тенденция к утрате специфики психологического мышления. Эта тенденция хоть и не всесильна, но неуклонна и неизбежна: в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Например, патопсихолог лишается в области психиатрии одной из важнейших прерогатив полноценного научного исследования ” самостоятельности в выделении из реальности предметов изучения. Он вынужден довольствоваться лишь психологическим исследованием и оправданием психиатрического расчленения реальности, которое диктуется медицинской практикой. Лишенный, таким образом, в психиатрии “эфферентного поля”, он лишается и категориальной специфики своего восприятия.

С появлением самостоятельных психологических служб, собственно психологической практики принципиально меняется социальная позиция психолога. Он сам формирует цели и ценности своей профессиональной деятельности, сам осуществляет необходимые воздействия на обратившегося за помощью человека, сам несет ответственность за результаты своей работы. И это резко изменяет и его отношение к людям, которых он обслуживает, и его отношение к самому себе и участвующим в работе специалистам другого профиля, и, главное, сам стиль и тип его профессионального видения реальности.

Психологическая теория и практика

Формирующееся в связи с появлением психологической практики новое положение психологии в общественной жизни создает новую ситуацию внутри самой психологии. Главный параметр оценки этой ситуации - отношения между психологической наукой и практикой.

Пока психология не начала оформляться в отдельную социально-практическую сферу такого же типа, как педагогика или медицина, пока не имела внутри своего состава и собственную практику, и науку, а совпадала с одной лишь наукой, она знала только “чужую” практику, имела дело только с практикой, принадлежащей другим сферам.

Психологию и практику разделяла тогда граница, хоть и пересекаемая, но в одну сторону - от психологии к практике. Отношения между ними определялись принципом внедрения. Для психологии это всегда были “внешнеполитические” отношения, ибо, даже включившись во внутреннюю жизнь той или другой практики, войдя в самые ее недра, психология не становилась сродственным ей ингредиентом, т.е. не становилась практикой, а оставалась все-таки наукой. Так существует посольство в чужом государстве, сохраняющее всегда статус частички “своей” территории. Поэтому патопсихолог,

специалист по педагогической или инженерной психологии, даже став совсем “своим” в больнице, школе и на заводе, все-таки неизбежно чувствовал себя “своим среди чужих”. Самое непосредственное участие психолога и психологии в решении разных практических задач не меняло принципиально положения границы: практика всегда оставалась для нее чем- то внешним, говоря словами Л.С.Выготского, “выводом,

¹⁸ Речь идет не о том, что психолог совсем не участвует в системе практических мероприятий. Например, в психиатрической больнице его участие может быть очень велико, но даже там общий план лечения, последнее слово в диагностике и оценке результатов терапии, словом, все стратегические пункты деятельности принадлежат врачам. Так и в любой другой области.

приложением, вообще выходом за пределы науки, операцией занаучной, посленаучной, начинавшейся там, где научная операция считалась законченной” (Выготский, 1982, с.387).

С появлением самостоятельных психологических служб, собственно психологической практики ПРИВЫЧНЫЙ ЛОЗУНГ О внедрении психологии в практику должен быть перевернут: наоборот, практику надо внедрять в психологию. Отношения между наукой и практикой должны стать для психологии “внутриполитическими”, практика должна войти внутрь психологии, причем, как главный философский принцип всей психологии. Камень, который отвергли строители, должен стать во главу угла. При всей важности для психологии участия в различных видах социальной практики, нужно отчетливо осознавать, что только своя психологическая практика может стать краеугольным камнем психологии. Это принципиальное уточнение мы должны сейчас сделать к прогнозу Л.С.Выготского, который рассчитывал, что столкновение с военной, промышленной, воспитательной практикой оздоровит нашу науку.

В гуще психологической практики впервые возникает настоящая жизненная, т.е. вытекающая не из одной лишь любознательности, потребность в психологической теории. Впервые потому, что от “чужой” практики всегда исходил запрос не на теорию, а на конкретные рекомендации и оценки, ее представителями теория воспринимается как необязательная, досадная нагрузка к методикам.

Психологической же практике теория нужна как воздух. Но обращаясь к существующим психологическим концепциям личности, деятельности, коллективами т.д., психолог-практик не находит в них ответа на главные свои вопросы: зачем? - в чем смысл, предельные цели и ценности психологического консультирования, тренинга и пр.?; что именно он может и должен делать, какова зона его профессиональной компетенции?; как достигать нужных результатов?; почему те или иные действия приводят именно к такому результату, каковы внутренние механизмы, срабатывающие при этом? Словом психолог-практик ждет от теории не объяснения каких-то внешних для практики сущностей, а руководства к действию я средств научного понимания своих действий. Но кроме того, и это самое важное, психологическая практика нуждается в такой теории, у которой можно не только что-то взять, но которой можно отдать. Практическая работа порождает богатейший живой материал, и, не имея подходящих теоретических средств для ассимиляции этого материала, психолог чувствует себя как сказочный герой, которому позволено унести столько золота, сколько он может, а у него нет под рукой даже захудалого мешка. Это последнее требование: возможность отдавать, вкладывать в теорию свой капитал, радикально отличает “свою” психологическую практику от “чужих” в их отношении к психологической теории.

Вполне очевидно, что теория, созревшая в академической исследовательской плоскости, в отрыве от психологической практики, не способна удовлетворить эти требования.

Таким образом, психологическая практика не может продуктивно развиваться без теории, и в то же время, она не может рассчитывать на академическую теорию. Ей нужна особого типа теория, назовем ее психотехнической.

Мы используем этот термин в том особом методологическом смысле, который ему придавал Л.С.Выготский (1982) и который закреплён и развит в книге А.А.Пузыря (1986). “Несмотря на то, что она не раз себя компрометировала, - писал Л.С.Выготский о современной ему психотехнике, - что ее практическое значение очень близко к нулю, а теория часто смехотворна, ее методологическое значение огромно. Принцип практики и философии - еще раз - тот камень, который презрели строители и который стал во главу

угла” (1982, с.388). Но что это за странный камень, спросим себя, претендующий быть краеугольным и в то же время не монолитный, состоящий из двух частей, философии и практики? И о какой философии идет речь?

Л.С.Выготский соглашается с Л.Бинсвангером, что решения главных вопросов психологии мы не можем ждать от логики, гносеологии или метафизики, т.е. основных частей философии. Значит, не обычная философия имеется в виду, когда говорится о краеугольном камне. Какая же? “Философия практики”, - формулирует Л.С.Выготский. А что такое “философия практики” применительно к психологии? Это “методология психотехники”. Итак, выстраивается синонимический ряд: философия и практика = философия практики = методология психотехники = психотехника (там же, с.388-389).

Зная мышление Л.С.Выготского, его метод выделения “единиц” анализа, можно не сомневаться, что “психотехника” для него как методологический принцип есть “единица”, объединяющая в себе философию и практику. Поэтому “психотехника” и есть краеугольный камень новой психологии, содержащий практику в своем внутреннем устройстве, как “конструктивный принцип” (там же, с.388), и в силу своего положения во главе угла требующий выравнивать, выверять по себе все стены и перекрытия возводимого здания, неизбежно воспроизводя в каждом пункте этого строительства принцип практики, философию практики как руководящую идею.

Соответственно, все это здание, вся теория, основанная на таком камне, будет психотехнической.

Академическая и психотехническая теория

В чем конкретно состоят особенности психотехнической теории? Попытаемся ответить на этот вопрос, сопоставив по ряду параметров психотехническое познание с доминирующей пока в психологии естественнонаучной гносеологией. Мы называем последнюю “академической”, потому что вся психология сводилась до недавнего времени к одной лишь психологической науке, та строилась в основном по образцам естественных наук, как самых “научных”, а академизм есть синоним и символ научности.

Ценности. Ценностная ориентация академической психологии в лучших ее образцах соответствует канонам классической науки и вообще “классической рациональности” (Мамардашвили, 1984). “Объективная истина”, не зависящая от чьей-либо субъективности и произвола, считается здесь не только высшей, но единственной ценностью. Психотехническая же система, включающая в себя реальную практику как свой живой орган, обязана сознательно выбрать свою ценностную позицию в контексте всех основных ценностей - истины, добра, красоты, святости, пользы и пр. Речь идет не только о человеческой позиции психолога и не о ценностной рефлексии уже сделанного, а о том, что ценностная установка должна быть имманентным началом теории и войти в ее ткань. Это положение - не нравственный императив, а необходимое условие получения научного, но, разумеется, не “естественнонаучного”, психотехнического знания о “психотехнической реальности”.¹⁹

Адресат. Подавляющее большинство научных психологических трудов пишется у нас для академических психологов и используется ими для работы над своими собственными научными трудами. При этом в аннотациях указывается, что работа будет интересна или полезна для философов, педагогов, социологов и т.д., но сама процедура извлечения этой пользы или нахождения этого интереса - дело читателя, совершенно внешнее по отношению к авторскому замыслу психолога.

¹⁹ Такая особенность позволяет отнести психотехническое познание к “постнеклассическому” типу по классификации В.С. Степина.

Адресатом же психотехнической теории является психолог-практик, а это особый читатель. По выражению М.К.Мамардашвили, “Сезан мыслит яблоками”, в этом же смысле можно сказать, что психолог-практик мыслит живым практическим опытом. Поэтому создаваемая для него теория должна быть релевантна этому опыту. Психолог-практик - не просто внешний контролер адекватности, истинности и эффективности, он - неотъемлемый внутренний персонаж психотехнической теории. Эта теория от него, про него и для него.

Субъект познания. В соответствии с идеалами классического гносеологизма, познание должно быть независимым от познающего субъекта, т.е. от его отношения к объекту исследования, личной позиции, вкусов и предпочтений. Поэтому в реальной исследовательской практике психолог предпринимает попытку занять нейтральную, отстраненную позицию если не “абсолютного”, то хотя бы “среднестатистического” наблюдателя.

В психотехнической же практике, напротив, психолог занимает заинтересованную, участную и личную позицию и осуществляет познание именно из такой позиции. Его профессиональное мастерство состоит не в том, чтобы, объективности ради, устранять или игнорировать личностный характер этой позиции, а в том, чтобы максимально объективно и честно ее осознавать именно как личную и выковыривать ее грани в соответствии с избранными предельными ценностями. Кроме того, в психотехнической ситуации психолог является не единственным познающим; его клиенты (пациенты, участники групп) высыпают как вполне равнозначные и незаменимые партнеры, так что самые творческие моменты продвижения к истине возникают, когда образуется диалогический “совокупный субъект” познания.

Контакт. В естественнонаучном психологическом исследовании контакт с испытуемым рассматривается как неизбежное зло, которое может исказить объективную картину. Исследователя интересует объект в том виде, как он существует без и независимо от контакта. Соответственно, предпринимаются попытки минимизировать, стандартизировать контакт, сделать его эмоционально нейтральным. Контакт с испытуемым экспериментатор мечтал бы превратить в своего рода детектор или узкую смотровую щель, сквозь которую был бы виден только один, интересующий исследователя аспект.

В психотехнической практике, как правило, стремятся к интенсивному, уникальному и эмоциональному контакту. Разумеется, здесь есть свои тончайшие и строжайшие правила и ограничения. Но важно то, что если в естественнонаучном познании главное достоинство контакта - его узость и прозрачность, создающие ограниченную, но ясную и отчетливую область зрения, сама же эта смотровая щель не интересует исследователя, то в психотехническом знании нет стремления элиминировать сведения о контакте. Напротив, они являются самыми ценными и существенными. Если в естественнонаучной познавательной ситуации контакт связывает субъекта и объект узким “каналом”, то в психотехнической - скорее объединяет их, образуя общее “поле”, в которое включены участники.

Процесс и процедуры исследования. В исследованиях, отвечающих естественнонаучным идеалам, применяются “жесткие” и однонаправленные экспериментальные программы. Сама программа эксперимента может меняться только от опыта к опыту, но в ходе проведения опыта она не меняется в зависимости от складывающейся ситуации, поведения испытуемого и состояния экспериментатора. Обстоятельства могут, конечно, помешать выполнить программу, но тогда эксперимент считается сорванным, несмотря на то, что сам этот срыв порой может дать много ценной информации.

Духу психотехнического познания более отвечают процедуры, создающие человеку оптимальную ситуацию для самопознания и самораскрытия. Эти процедуры отличает гибкость, незапрограммированность, стремление к уникальному реагированию на уникальную ситуацию. Эта гибкость лишена произвола и необязательности в той же степени, как единственный ход в шахматной партии и единственное слово в поэтической строке. Другой особенностью является направленность доставляющих знание процедур не только на пациента (клиента, участника тренинговой группы), но и на самого психолога, на его отношения, с пациентом, на сам психотехнический процесс.

Знания. Естественнаучные психологические знания о человеке являются достоянием исследователя и предназначены либо для научных нужд психолога, либо для практических нужд другого специалиста (врача, судьи, тренера, но не для самого человека. По форме это знание в третьем лице, “о нем”, неконвертируемое в диалог с испытуемым и потому не сообщаемое ему или сообщаемое в искаженном виде.

В психотехническом процессе могут циркулировать знания самого разного типа, но знания, которые продвигают и углубляют этот процесс и которые в то же время являются симптомами такого продвижения и углубления, это знания внутренние, личностные, знания не умом только, а всем человеческим существом. Предмет этого знания не обязательно Я САМ, но то, с чем я нахожусь в непосредственном живом контакте, с чем могу внутренне эмоционально отождествиться. Это знание не о чем-то внешнем, отсутствующем, отдаленном, знание не “о нем”, а о внутреннем, близком, что присутствует во мне или в чем присутствую Я, т.е. знание “о себе” или “о тебе”.

Предмет теории. В естественнонаучной теории действительность берется, говоря словами марксовых тезисов, “в форме объекта”, а в психотехнической теории, напротив, - как “человеческая чувственная деятельность, практика”, “субъективно”, причем, не со стороны, как чья-то деятельность, практика, а изнутри, как моя практика. Такое познание не смотрит на мир со стороны из вне- и надмирной позиции, а изнутри практики смотрит на открываемый ею мир. Психотехническая теория - это не теория некоего “объекта” (психики, деятельности, мышления), а теория психологической работы-с-объектом. Это теория практики. Стилистическое подтверждение такой формулы содержится в названиях, данных, например, З.Фрейдом или П.Я.Гальпериным своим несомненно психотехническим по типу системам: не теория бессознательного, а психоанализ, не теория умственной деятельности или мышления, а теория поэтапного формирования умственных действий. В обоих случаях - теория практической деятельности психолога (анализа, формирования).

Соотношение предмета и метода. Роль метода в естественнонаучном познании состоит в том, чтобы превратить эмпирический объект изучения в предмет исследования. Так, при изучении условных рефлексов у собак в школе И.П.Павлова животное ставилось в такие условия (ограничение стимуляции, движений и др.), чтобы все его поведение фактически сводилось к условнорефлекторному реагированию. Создав такого рода искусственный препарат, метод как бы отходит в тень, предлагая рассматривать этот сфабрикованный предмет как натуральный объект.

В психотехническом познании происходит парадоксальный для классической науки методологический переворот: метод здесь объединяет участников взаимодействия (субъекта и объект познания, - в неадекватной старой терминологии), как бы вбирает их в себя и превращается в своего рода “монаду”, которая и становится предметом познания. Но, как известно, “монада не имеет окон” (Лейбниц), она познается изнутри.

Например, психотехническая постановка проблемы переживания горя состоит в исследовании “утешения горящего”, психотехническая постановка проблемы

бессознательного - в исследовании "толкования бессознательного". И сколь бы изощренной ни была рефлексия таких исследований, сколь бы сами они ни были вторично объективно-научными, первично они исходят из утешения и толкования, и только здесь, внутри тела этих моих психотехнических действий, я профессионально и "научно" встречаюсь с горем и бессознательным, с собой - психологом, с тобой - моим собеседником и пациентом. Причем, встречаюсь с ними (нет - с нами) как со взаимодополнительными и необходимыми моментами некоего единства, а не как отдельными и самодостаточными "объектами". Разумеется, в ходе внутреннего развития и дифференциации такого познания не избежать объективаций и появления как бы естественнонаучных знаний о горе и бессознательном, но это, повторим, "вторично-научные" знания, выросшие на психотехнической закваске.

Что до методологического статуса таких знаний, то в отличие от самых развитых, "неклассических" естественнонаучных исследований, доросших до того, чтобы знания о методе включать а знание об исследуемом объекте, здесь, в психотехническом познании, наоборот, знания об "объекте" (горе, бессознательном) включаются как аспект в искомое знание о методе.

Итак, если общим предметом классической академической теории является фрагмент, выделенный методом из объекта, ограниченный методом, то общим предметом психотехнической теории является сам метод, ограняющий и ожидающий пространство психотехнической работы-с-объектом.

Всякая научная теория в своем общем предмете выделяет Центральный предмет исследования, на котором сосредоточивает свое внимание, полагая, что познание законов этого центрального предмета является ключом к познанию всего общего предмета (например, в теории ВИД И.П.Павлова познание законов условного рефлекса - ключ к познанию всей высшей нервной деятельности). Отличие психотехнической от академической теории состоит в этом пункте в том, что если академическая теория подбирает метод, адекватный изучению центрального предмета, то психотехническая теория должна, наоборот, по работающему, эффективному психотехническому методу, нащупанному в живом опыте, восстановить такой центральный предмет, для которого этот практический метод является одновременно оптимальным и специфическим методом познания.

Так, например, кандидатом на центральный предмет психотехнической теории индивидуальной психологической помощи вполне мог бы быть условный рефлекс на том основании, что механизмы обусловливания вполне способны объяснить эффективность методов бихевиоральной терапии. Однако, если мы спросим, способны ли, наоборот, эти методы дать новое знание о рефлексе, является ли, скажем, метод систематической десенсилизации подходящим для изучения классического условного и оперантного рефлексов, то придется признать, что этот метод познавательно бесплоден и не идет ни в какое сравнение с павловским привязным станком или скиннеровским ящиком.

Если бы станок и ящик, будучи оптимальными устройствами для исследования обусловливания создавали еще и оптимальную ситуацию для эффективной психологической помощи (предположим на минуту, что критерии такой эффективности однозначны и общепризнаны), то бихевиоризм был бы психотехнической системой, а понятие условного рефлекса выражало бы центральный предмет этой системы. Либо наоборот, если бы методы бихевиоральной терапии были бы не только практически эффективны, но и оптимальны для исследований закономерностей обусловливания, то сама бихевиоральная терапия была бы не просто прикладным бихевиоризмом, лишь изощренно эксплуатирующим научные идеи материнской теории, а была бы

психотехнической системой, наращивающей исходный научный капитал. И в этом случае условный рефлекс стал бы центральным предметом подобной системы.

Эти рассуждения приложимы и к любому другому понятию, претендующему на роль центрального предмета психотехнической системы. Возьмем для примера понятие гештальта. С одной стороны, необычайно познавательно плодотворная гештальт-психология, с другой, гештальттерапия - один из самых развитых и эффективных методов современной психотерапии. В категории гештальта сконцентрирована блестящая научная традиция, целая развивающаяся система понятий, концепций и экспериментов, за ней встают такие имена, как Кофка, Келер, Левин, и в то же время, эта категория стала основой разветвленной системы методов гештальттерапии, хорошо объясняет механизм эффективности этих методов, и в сфере психотерапии эта категория ассоциируется с такой звездой первой величины, как Ф.Перлз. Казалось бы, о чем еще можно мечтать?! И все же этого мало. Категория гештальта не стала таким каналом, через который богатейший опыт гештальттерапии вливался бы в гештальтпсихологию и служил ее развитию, а в этом развитии создавались бы понятия и формы, вновь вливаемые в гештальттерапию и превращающиеся там в психотерапевтические методы. Отношения между ними ограничились, по сути, одноразовым вложением идейного капитала гештальтпсихологии в гештальттерапию без дальнейших взаимооплодотворяющих обменов. Именно поэтому гештальтпсихология и гештальттерапия не образовали психотехническую систему, а понятие гештальта, соответственно, не стало центральным предметом такой системы.

Итак, какое бы мы понятие ни пытались положить в основу психотехнической системы, сделать ее центральным предметом - рефлекс или гештальт, самосознание или диалог, характер или переживание, - можно рассчитывать на плодотворность такой системы только в том случае, если это понятие будет удовлетворять следующим критериям: а) оно должно быть не выдуманно на потребу сиюминутной практической выгоде (как, например, понятие “якоря” в нейролингвистическом программировании), а концентрировать в себе идейную энергию и потенциал какой-то серьезной психологической традиции, б) оно должно служить идейной основой эффективных психотехнических методов, т.е., с одной стороны, быть их конструктивным принципом, позволяющим создавать такие методы и методики, а с другой - их объяснительным принципом, позволяющим научно объяснить механизм действия как собственных, так и заимствованных методов; в) и, наконец, самое главное: оно должно быть способно сформировать или найти такой эффективный практический метод, который в то же время был бы для этого понятия оптимальным, наилучшим, ключевым (чтобы не сказать - единственно возможным) эмпирическим исследовательским методом.

Для разрабатываемой автором этих строк психотехнической системы индивидуальной психотерапии таким центральным понятием выступает понятие переживания, рассматриваемого как особая деятельность человека по преодолению критических жизненных ситуаций. Примером этого понятия легко проиллюстрировать последнее из названных методологических требований. Если бы нас даже совершенно не интересовали практические вопросы эффективности психологической помощи, а стояла бы лишь чисто научная задача эмпирического исследования переживания клиента, то лучших испытуемых, чем клиенты психологической консультации, и лучшей “экспериментальной” ситуации, чем ситуация консультирования, найти было бы невозможно. Словом, если бы вообще не существовало индивидуальной психотерапии, то для изучения проблемы переживания ее нужно было бы изобрести.

Сведем в таблицу итоги сопоставления академической и психотехнической теорий.

Аспект познания	Естественнонаучное познание	Психотехническое познание
Философия	Гносеологизм	Философия практики
Ценности	Внешние по отношению к познанию	Имманентны процессу познания
Адресат	Академический психологи или специалист другой профессии	Психолог-практик
Субъект познания	Нейтральный, отстраненный	Заинтересованный, участный
Контакт	Минимизированный, стандартизированный, эмоционально нейтральный. Связывает субъект и объект	Интенсивный, уникальный, эмоциональный. Объединяет субъектов психотехнической ситуации
Процесс и процедуры исследования	Жесткие, неизменные в пределах данного опыта программы процедур	Гибкие, уникальные процедуры, тонко реагирующие на текущую ситуацию опыта
Знания	Знание в третьем лице, "о нем". Знания испытуемого о себе лишь фактический материал	Знание внутреннее, личностное, "о себе" или "о тебе"
Предмет и метод	Метод выделяет предмет из реальности и представляет его в "форме объекта", наблюдаемого извне	Метод объединяет участников психотехнической ситуации и сам становится предметом исследования
Центральный предмет	К центральному предмету подбирается адекватный метод исследования	К практически эффективному методу подбирается центральный предмет, для которого этот метод является оптимальным методом исследования

Подведем итоги. Тот, кого всерьез волнует судьба нашей психологии, должен осознавать вполне реальную опасность вырождения ее в третьеразрядную дряхлую и бесплодную науку, по инерции тлеющую за академическими стенами и бессильно наблюдающую сквозь бойницы за бурным и бесцеремонным ростом примитивной, а то и откровенно бесовской, массовой поп-психологии, профанирующей как те достойные направления зарубежной психологии, которые ею слепо копируются, так и психологию вообще, игнорирующей национальные и духовные особенности среды распространения. Это не какая-то отдаленная опасность. Гром уже грянул. Единственный шанс для нашей научной психологии, шанс не просто отсидеться еще какое-то время на теплой академической печи [заметно, впрочем, остывшей за два года, прошедшие с тех пор, как пистались эти строки], а сделаться подлинной, сильной, полноценной наукой, состоит в том, чтобы радикально измениться. Это не внешнее вынужденное изменение, оно

заложено в генотипе отечественной психологии. Ей, по сути, нужно всего-то - стать самою собой, не зарыть свой, именно свой, талант в землю, а пустить его в оборот, реализовать уже заложенные в ней потенции, из психологии деятельности превратиться в деятельную и жизненную психологию. Пришло время услышать и исполнить все еще звучащие для нас слова Выготского о психотехнике, значимость которых он не зря подчеркнул евангельской метафорой о краеугольном камне: это есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главою угла, и нет ни в чем ином спасения.

3.3. Методологический смысл психологического схизиса

Карта отечественной психологии за последние 10 лет²⁰ изменилась, пожалуй, более радикально, чем карта Восточной Европы. Тогда, в 1985 г. над пустынными психологическими пространствами возвышались несколько академических крепостей (это были главным образом столичные психологические институты и факультеты психологии), кое-где виднелись ведомственные бастионы (психологические лаборатории в «ящиках», МВД, больницах, педагогических структурах и самый многочисленный их вид — кафедры психологии провинциальных педвузов), большей частью находившиеся в вассальном теоретическом положении у одной из крепостей, а ручейки вольной психологической практики с высоты птичьего полета почти не были видны.

Бурное пятилетие (с 1986 по 1991 гг.) подняло волну энтузиазма психологов-практиков. Волна окатила крепостные стены, кое-где переклестнула через них и отхлынула, разлившись по обширным неакадемическим просторам. Она стала заполнять все ложбины и низменности — всюду появились психологические центры, службы, ТОО, ООО, да и просто лихие молодые люди с очень ограниченной ответственностью, но с безграничной готовностью на любую психологическую услугу от подготовки кандидата в президенты страны до снятия порчи.

Недавняя пустыня между академическими крепостями и ведомственными бастионами превратилась в беспокойное море психологической практики. Есть в нем уже и глубокие чистые течения, хотя, разумеется, преобладают пока мутноватые воды самоуверенного дилетантизма.

Но нравятся нам последствия наводнения или нет, факт остается фактом: все это вместе и есть «отечественная психология», хотя ее рельеф и климат, флора и фауна неузнаваемо изменились. Раньше судьба нашей психологии ковалась за академическими стенами, отныне она определяется тем, как будут складываться отношения между образовавшимся «морем» и «сушей», между «психологической практикой» и «научной психологией».

В упомянутое выше пятилетие «энтузиазма», когда большинство психологов-практиков составляли специалисты с университетским академическим образованием, казалось иногда, что продуктивное соединение практики и науки произойдет само собою. Казалось, что началась уже новая историческая эпоха, что позади остались старые естественнонаучные идеалы, высокомерное отношение к практике как косной сфере, куда «внедряются» научные достижения, что сбывается пророчество Л.С. Выготского: «Практика входит в глубочайшие основы научной операции <...>, становится конструктивным принципом науки» (*Выготский*, 1982, с. 387—388). Думалось, что страстный философский призыв Л.С. Выготского наконец услышан, психология вобрала в свой состав практику и стала изнутри преображаться.

Но, увы, как и в жизни, в науке ничто не совершается автоматически. Когда начался отлив, обнаружилось, что переклестнувшая волна оставила после себя несколько психотехнически ориентированных лабораторий, но никакого внутреннего оплодотворения психологической науки «философией практики» не произошло. Напротив, отлив продолжался, разрыв между психологической практикой и наукой стал увеличиваться и достиг угрожающих размеров. Самое тревожное, что это расщепление, проходящее по телу психологии, никого особенно не волнует — ни практиков, ни исследователей. Если бы ситуация определялась острым противоборством, столкновением сторон, попыткой сломить сопротивление и перекроить всю психологию по-своему — это было бы драматично и... плодотворно. Тогда можно было бы говорить об очередном кризисе психологии. К сожалению, приходится диагностировать не кризис, но **схизис** нашей психологии, ее расщепление. Психологическая практика и психологическая наука

²⁰ Данная работа была впервые опубликована в 1996 г. в знаменательном номере журнала «Вопросы психологии», посвященном столетию Л.С. Выготского.

живут параллельной жизнью как две субличности расщепленной личности: у них нет взаимного интереса друг к другу, разные авторитеты (уверен, что больше половины психологов-практиков затруднились бы назвать фамилии директоров академических институтов, а директора, в свою очередь, вряд ли информированы о «звездах» психологической практики), разные системы образования и экономического существования в социуме, непересекающиеся круги общения с западными коллегами. Есть и другие симптомы схизиса, но наиболее опасное, что консервирует всю ситуацию и в первую очередь нуждается в исправлении, состоит в том, что ни исследователи, ни сами практики не видят *научного, теоретического, методологического значения практики*. А между тем для психологии сейчас нет ничего теоретичнее хорошей практики.

Ниже мы надеемся показать, что наиболее актуальными и целительными для нашей психологии являются психотехнические исследования, что их значение вовсе не сводится к разработке эффективных методов и приемов влияния на человеческое сознание, но состоит, прежде всего, в выработке *общепсихологической методологии*. Методологическая миссия психотехники определяется не только внешними факторами — массовым распространением психологических практик, порождающим соответствующий социальный заказ, но и *внутренними тенденциями самой психологической науки*. Последнее кажется особенно важным — убедиться, что психотехника есть не просто частная прикладная дисциплина, но — общепсихологическая методология, причем методология, не навязанная извне обстоятельствами, а присущая отечественной психологии как своего рода «генетическая программа». Наступило время, когда эта программа начала реализовываться. Попытаться расшифровать ее генетический код, проследить пути ее развертывания — вот задача данной работы.

Начнем с очевидной ценности психологической науки, лучше сказать, с ее заветной мечты о целостном уникальном человеке. Как бы аналитичны ни были те или другие психологические направления, как бы ни членили они человека и его жизнь на функции, состояния, процессы, их никогда не покидала мечта о синтезе, о том, что рано или поздно найдется сказочная мертвая вода, которая соединит части разъятого человека в цельное существо, и вода живая, которая это существо оживит. Но то, что является романтической мечтой традиционного психолога-исследователя (о которой он, разумеется, мгновенно забывает, когда дело доходит до дела и ему нужно действовать по неумолимой логике науки), недостижимым венцом всегда будущих научных синтезов, то для психолога-практика является вполне приземленной ежедневной реальностью, с которой ему с начала и до конца своей работы только и приходится иметь дело, борясь лишь со своими собственными аналитическими или редукционистскими привычками.

Однако эмпирически, опытно известное — отнюдь не то же самое, что научно известное. Для того чтобы научиться не только *действовать* с целостным человеком, но и *мыслить* действительность человеческой целостности, необходимо, прежде всего, задаться вопросом: чем она конституируется?

Строго говоря, культом (см. *Флоренский, 1977*). Только он обнимает человека во всей полноте его телесной, душевной и духовной жизни. Только в нем есть возможность сойтись и объединиться всему: бытовым житейским мелочам с высшим смыслом жизни, древнейшей традиции со злободневной современностью, глобальным историческим процессам с уникальной человеческой судьбой и главное — Богу и человеку. Но поскольку наша научная психология не готова еще, кажется, к продуктивной встрече с полнотой и антиномичностью христианской антропологии, то, оставив до поры лучший ответ, вопрос нужно поставить заново: где, в каких контекстах мы находим человека в полноте и конкретности его бытия? В каких контекстах не расплескивается сущность человека или хотя бы сохраняется его узнаваемость, так что, взглядываясь в полученные в этих контекстах описания, можно безошибочно определить — да, да, речь идет о

человеке, а не о механизме, организме или социальном атоме?

Человеческая целостность сохраняется, прежде всего, в контексте *сознания*, имея в виду и феноменологический горизонт жизненного мира человека, и все эстетические, этические и психологические формы его выражения и понимания.

Далее, она сохраняется в ориентированных на человека социальных *практиках* — в обучении, воспитании, лечении и пр.

Наконец, как смысловая сущность человеческая целостность может удерживаться в разного рода символических полях *культуры*, в поэтической строке, живописном образе и пр.

Эти контексты взаимоотражаются друг в друге, пронизывают друг друга и существуют как узлы в одной связке. ***Сознание—практика—культура*** — *такова тройная формула контекста, задающего действительность человеческой целостности.*

Но мало определить категориальные условия, обеспечивающие нередуцируемость человеческой целостности, необходимо еще ответить на вопрос, как эту целостность исследовать, коль скоро мы не оставляем задач науки внутри психотерапевтической и консультативной деятельности, не отказываемся и здесь искать истину, а не одну только пользу.

Практика как принцип познания

В современной методологии познания стало уже общим местом утверждение о нереализуемости классических научных канонов при изучении человека (не говоря уже об их относительной применимости даже в естествознании). Парадигма классической науки при изучении человека дает трещину в решающем пункте, гласящем: объект независим от познания. В тех дисциплинах, которые изучают конкретных людей, особенно очевидно, что названная аксиома не оправдывает себя. Во-первых, само знание о человеке реально изменяет его. Самый явный пример тому — психоанализ, антропологические концепты которого стали символическими орудиями, изменяющими сознание человека как в каждом конкретном клиническом случае, так и в смысле того культурного человеческого типа, который сформировался на Западе: психоаналитическое искусство, менеджмент, лечение, воспитание и пр. — все это сегодня неотъемлемые элементы реальной жизни обычного западного человека. Во-вторых, формы и методы познания влияют не только на характер получаемого знания (не безразлично, будет ли это знание об условных рефлексах или о жизненном стиле), но и на самого исследуемого человека²¹. В-третьих, сам процесс познания человека, само пребывание его в положении изучаемого объекта вовсе не безразличны для него: и потому, что «быть исследуемым» — лишь один из многих модусов социального существования человека со своими культурными нормами, ритуалами, ожиданиями, вовсе не совпадающий с другими модусами («я» как *испытываемый* вовсе не равен «себе» *играющему, работающему, любящему* и т.п.).

В этих констатациях для нашей психологии давно нет никакой гносеологической новизны. Повторять их приходится не потому, что они не известны, а потому, что из них вытекает *методологическое задание*, которое отечественная психология должна была выполнить, но так еще до конца и не выполнила. Суть этого задания в том, что психология деятельности должна стать деятельной психологией (А.Н. Леонтьев), или «психотехнической» (Л.С. Выготский). Казалось бы, еще в знаменитых «Тезисах о

²¹ Во всяком исследовании есть обучающий и мотивирующий компонент. Простой мысленный эксперимент: двух космонавтов на протяжении нескольких лет исследуют по разным программам — у одного систематически проверяют объем памяти, у другого — способность к решению творческих задач. Легко вообразить последствия таких экспериментов для развития соответствующих способностей. Даже в «чистой» экспериментальной психологии объект исследования зависит от факта и содержания исследования, а уж психотерапевтическая практика показывает, что даже тон и стиль задаваемого человеку вопроса изменяют характер включенных для поиска ответа механизмов сознания.

Фейербахе» К. Маркса, столь часто цитировавшихся в нашей психологической литературе, это методологическое задание было сформулировано ясно и четко. В одном из тезисов речь шла о том, что философы лишь различным образом *объясняли* мир, но дело заключается в том, чтобы *изменить* его. В другом — о том, что изучаемую действительность следует брать не в *форме объекта* и не в *форме созерцания*, а как человеческую чувственную деятельность, как *практику*, «субъективно».

Сами по себе эти идеи Маркса, разумеется, не раз оценивались советскими философами как гениальный вклад в гносеологическую теорию, состоящий во введении в нее категории практики. Мысль о том, что в основании научной деятельности должна лежать человеческая практика, систематически воспроизводилась. Вот, например, в каком виде ее формулирует В.С. Степин: «Как в любой познавательной деятельности, здесь (в эмпирическом слое науки. — *Ф.В.*) проявляется фундаментальный принцип теории отражения, согласно которому объект познания определен лишь относительно некоторой системы практики. Познающему субъекту предмет исследования всегда дан не в форме созерцания, а в форме практики... Поэтому во всех слоях научного знания содержится схематизированное и идеализированное изображение существенных черт практики, которое вместе с тем (а вернее, в силу этого) служит изображением исследуемой действительности» (Степин, 1976, с. 88).

Но одно дело признание идеи, и совсем другое — ее реализация. Не берусь судить о жизни марксовской идеи в современной российской философии, но в нашей психологии (теперь стыдливо вытесняющей все связи, ведущие к подозрению в марксизме) она чаще всего истолковывалась таким образом: исходный предмет психологического исследования — человеческая практика, деятельность. Но означает ли это, что действительность берется не в форме объекта и не в форме созерцания, а как человеческая чувственная деятельность, как практика, берется «субъективно», по словам Маркса? Нет. Центральный, решающий пункт состоит не в том, чтобы из всех возможных объектов познания *выбрать для исследования* деятельность, и не в том, чтобы всякую исследуемую действительность *рассматривать* как деятельность, а в том, *в какой позиции находится сам исследователь по отношению к этой действительности*. Одно дело, если он сохраняет позицию Абсолютного Наблюдателя, созерцающего особый объект — деятельность, и тогда он и саму деятельность берет «либо в форме объекта, либо в форме созерцания», берет «объективно». Совсем другое — если он занимает *участную позицию* в бытии, становится в практическое жизненное отношение к познаваемой действительности и именно свою человеческую чувственную деятельность, свою практику (а раз «свою», то, естественно, действительность берется «субъективно») делает исходным пунктом познания.

Эти две методологические схемы резко отличаются друг от друга. В первой исследователь полагает себя вне и над бытием, бытие мыслит независимым от своих исследовательских процедур, сами эти процедуры представляет как бесплотные лучи, лишь дающие информацию об объекте, но не затрагивающие его, а получаемое в результате знание — как не имеющее обратного влияния на объект. Зрительное восприятие предметов — вот метафора этой схемы. Назовем ее условно «*философией гносеологизма*».

В пределах второй схемы исследователь должен не просто дать себе отчет в том, что он как человек находится в гуще бытия и потому неизбежно зависим в своем познании от своей связанности с бытием и погруженности в него; ведь, достигнув такого осознания, можно, тем не менее, избрать первую методологическую схему и пытаться, насколько это возможно, приблизиться к «идеальной» познавательной позиции, изыскивая методические средства, чтобы отряхнуть бытие с процесса познания. Реализуя вторую схему, нужно пойти на риск полагания себя именно как исследователя внутри изучаемой действительности, войти в поля чувственно-практической деятельности, которые не то чтобы связывают его отдельного с отдельной действительностью, а собственно, и

являются первоначальной и единственной действительностью, в которой затем уже проступают объективный и субъективный полюса. Осознавать это *чувственно-практическое* поле как изначальный и определяющий факт познания и означает придерживаться второй схемы, которую можно назвать *«философией практики»*. Если образ первой схемы — зрительное восприятие, то образ второй — тактильно-кинестетическое. Здесь стоит вспомнить, что генетически рука учит глаз, а не наоборот, и в функциональном плане глаз — вовсе не пассивный приемник идущих от объекта световых «снарядов», он, активно «ощупывая» объект, лепит его образ (см. *Зинченко, 1997*).

Итак, философия практики — это вовсе не философское познание практики, это и не познание, ориентированное прагматически на то, чтобы служить исключительно практическим целям; философия практики не является вообще методологией одного лишь познания, так, чтобы научная истина мыслилась как высшая ценность. Но поскольку познание осуществляется в недрах философии практики, оно должно непрерывно удерживать в своих процедурах факт собственной жизненно-практической укорененности в познаваемом бытии. Познание, реализующее философию практики, не смотрит на практику извне, а изнутри практики смотрит на открываемый ею мир.

Каким образом можно эти общепсихологические положения превратить в конкретную методологию психологии?

Философия практики как методология психологии

Л.С. Выготский, анализируя кризис в психологии, пришел к выводу, что его глубинной причиной была оторванность психологии от практики. Связи, сложившиеся между теоретической и прикладной психологией, напоминали, по словам Л.С. Выготского, взаимоотношения между метрополией и колонией — «теория от практики не зависела нисколько» (*Выготский, 1982, с. 387*). Выход психологии из кризиса Л.С. Выготский связывал с тем, чтобы практические дисциплины заняли принципиально иное положение во всем строе науки. Какое же? Эпиграф, многократно повторяемый в труде Л.С. Выготского, прямо указывает на это положение: «Камень, который презрели строители, стал во главу угла». Практика должна стать именно краеугольным камнем новой науки, то есть таким, на который опирается все возводимое здание, по которому выверяются все его стены. В новой психологии «практика входит в глубочайшие основы научной операции и перестраивает ее с начала до конца; практика выдвигает постановку задач и служит верховным судьей теории, критерием истины; она диктует, как конструировать понятия и как формулировать законы» (*Выготский, 1982, с. 387-388*).

Л.С. Выготский надеялся, что столкновение психологии с высокоорганизованной практикой приведет к тому, что промышленность и армия, политика и образование реформируют нашу науку.

Надеждам Л.С. Выготского, однако, не суждено было сбыться. Практика не реформировала психологию. Почему? Во-первых, конечно, из-за тех гонений, которым подверглись именно практически ориентированные психологические дисциплины — педология и психотехника. Во-вторых, из-за уродливых форм самой социальной практики, насквозь идеологизированной, ориентированной не на эффективность, а на фиктивные плановые показатели и потому не нуждающейся по-настоящему не только в действенной психологии, но вообще ни в какой психологии.

Однако непосредственной причиной задержки методологического развития нашей психологии явилось то, что она, взаимодействуя все же (особенно в шестидесятые годы) с различными видами социальной практики — медициной, промышленностью, педагогикой, участвовала только в этой «чужой» практике, не имея *своей психологической практики, не была самостоятельной практической дисциплиной*.

Только в последние десять-пятнадцать лет ситуация стала меняться. А еще так недавно, в семидесятые годы, по организационной структуре наша психология являла

собой более чем странную картину. Чтобы в полной мере ощутить эту странность, мы в предыдущей главе уже сопоставляли организационные модели отечественной психологии и медицины: если бы здравоохранение было устроено так же, как тогдашняя психология, то в ней были бы факультеты, институты и лаборатории, но не было бы больниц и поликлиник. Теперь у психологии появились свои «поликлиники», возникла собственно психологическая практика. Буквально за несколько лет психологов-практиков стало на порядок больше, чем психологов-исследователей и преподавателей. Учитывая опыт развитых стран, страстное стремление студентов факультетов психологии к обучению практической психологической работе, огромный наплыв психотерапевтических «прозелитов», обращенных из врачей, педагогов, военных и других специалистов, можно с уверенностью утверждать, что пропорция «практики/исследователи» будет неуклонно расти.

Появление психолога-практика как массовой профессии (массовой хотя бы пока по масштабам цеха профессиональных психологов) создает радикально новую ситуацию для всей нашей психологии. Возникает потребность в новых теоретических подходах, новых формах обучения и новых типах психологических организаций.

Для психологов-исследователей наступили необычные времена: если раньше продукт их работы использовался либо коллегами-учеными для полемики или цитирования в собственных научных же трудах, либо лекторами для «просвещения населения», либо практиками других профессий — военными, инженерами, врачами, то теперь главным пользователем становится психолог-практик. А это очень требовательный пользователь и очень критичный читатель научных психологических сочинений. Он смотрит на исследовательский труд из гущи реального опыта практической психологической работы. Это вовсе не взгляд прагматика, озабоченного только «ноу-хау», он ждет настоящего научного слова, истины, логоса, ждет тем более горячо, что он эту истину уже опытно ощутил и способен «узнать» ее, как узнает душа в подлинно поэтическом слове свое же однажды испытанное, но не до конца понятое чувство.

Чтобы отвечать этим ожиданиям, исследовательская, теоретическая психология должна реализовывать такой методологический подход, который позволил бы научно изучать не психику испытуемых, а *опыт работы с психикой*, прежде всего опыт профессиональной психологической работы, позволил бы черпать темы из этого опыта, создавать понятия и модели, описывающие и объясняющие опыт, формулировать результаты в виде, конвертируемом в опыт. Для того чтобы продуктивно развиваться, психологическая теория должна включиться в контекст психологической практики и сама включить эту практику в свой контекст. Двумя словами: психологическая теория должна реализовать *психотехнический подход*.

Но одно дело — «должна» и совсем другое — «может ли?», да и «хочет ли?», то есть соответствует ли это ее собственным внутренним тенденциям? И может, и хочет.

В отечественной психологии мы находим прекрасный образец реализованного психотехнического подхода. Это теория поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина. Без специального методологического анализа, уже чисто стилистически очевидна психотехническая суть этой теории: не теория *мышления*, не теория *умственных действий*, но именно теория *формирования*, то есть теория *работы с психикой*, а не самой психики. Нетрудно заметить, как переворачивается здесь классическая схема соотношения теории и практики: не от познания объекта к внедрению этих знаний в практику, а от опыта работы с объектом (формирования) к его познанию. Здесь в буквальном смысле исполняется надежда Л.С. Выготского на то, что практика войдет в основу научной операции.

Примера теории поэтапного формирования умственных действий достаточно для того, чтобы утверждать возможность реализации психотехнического подхода вообще. Но, повторяем, мало «быть должным», мало «мочь», нужно еще и «хотеть». «Хочет» ли отечественная психология стать психотехнической? Не под воздействием ли одной лишь

моды на психологическую практику начинает она преобразовывать свои теоретические основания? Ведут ли ее к этому ее собственные, «генетически» заложенные в нее влечения, узнает ли она себя, став психотехнической?

Если проследить важнейшую линию развития отечественной психологии, линию «Выготский—Леонтьев», то психотехническая закваска обнаруживается в ней в явном виде уже с самого начала. Идеи Л.С. Выготского об интериоризации как возникновении психических образований в ходе процесса «сворачивания» межличностного взаимодействия, о высших психических функциях, воплощение этих идей в экспериментах А.Н. Леонтьева (1928, 1931) по изучению опосредованной памяти — все это уже опыт реализации психотехнической методологии в психологическом исследовании. Ведь что собственно изучается в знаменитом эксперименте А.Н. Леонтьева? Вовсе не память, взятая как присущая индивиду по природе психическая функция, которая рассматривалась бы в качестве натурального объекта, свойства которого не зависят от его исследования. Изучается некое искусственное новообразование сознания, сформированное вместе экспериментатором и испытуемым с помощью предложенных средств (картинок) и в мотивирующем контексте социальной ситуации проверки памяти. Значит, изучается не память вообще, а, по сути, социальная мнемотехника, совместная деятельность двух людей — экспериментатора и испытуемого, свернутая в способности одного из них (испытуемого) воспроизвести ряд слов в данной специальной ситуации²².

Итак, идея философии практики в приложении к психологической науке предстает как психотехническая методология. Психотехника — это философия практики для психологии. Отечественная психологическая традиция в лице культурно-исторической школы Выготского является психотехнической по своему изначальному замыслу, по своему методологическому «генотипу».

Психотехника

Сейчас понятие «психотехника» употребляется в самых разных смыслах: и как набор приемов психического воздействия на человека, и как совокупность методов саморегуляции, и как новейшая методология психологии, предполагающая новый тип рациональности (*Пузырей*, 1986), и как культура психической деятельности в той или иной философско-религиозной традиции, а иногда, кивая на психотехнику 1920—1930-х годов, это понятие осмысливают как «психология — технике», то есть как психофизиологическое исследование человека как субъекта труда с целью научной организации профотбора, профориентации, вообще рационализации труда.

Для наших рассуждений важно вернуться к истокам понятия и вспомнить, что называл психотехникой изобретатель термина Гуго Мюнстерберг, тем более что именно на его работы ссылался Л.С. Выготский, когда писал о том, что в психотехнике кроется зерно новой психологии. В предисловии к русскому переводу книги Г. Мюнстерберга «Основы психотехники» (1924) Б. Северный и В. Экземплярский писали, что автор преследует цель объединения существующих специальных областей прикладной психологии и развитие неразвитых (социальной психотехники, приложение психологии в области права, искусства, науки) — и этим ставит задачу психологизации культуры.

Г. Мюнстерберг был одним из главных героев истории перехода от классической к постклассической психологии, смысл которого можно выразить формулой: *старую психологию интересовала жизнь души, новую — душа жизни* (см. *Васильюк*, 1986). Психолог классического периода, интроспекционист, видел свой профессионализм в том, чтобы

²² Осознанно психотехническая постановка этих экспериментов может быть, например, такой: экспериментатор проводит ряд серий с каждым испытуемым, подбирая способы взаимодействия (мотивация, средства и пр.), приводящие к максимальному (или другому наперед заданному) результату. Вообще, большинство классических психологических экспериментов может быть перепланировано психотехнически.

научиться препарировать реальный жизненный процесс и готовить для исследования чистые психические формы, отделенные от предметной действительности существования; он был искренне убежден, что для «изучения ощущения сладости совсем не нужно исследовать сахар». На рубеже веков в психологии появились и громко заявили о себе совсем другие фигуры (среди них прежде всего З. Фрейд), которые, наоборот, пожелали повернуться лицом к жизни и именно в ней попытаться увидеть психическое. Разумеется, все они по-разному, иногда противоположным образом, пытались решить эту задачу. Особенность Г. Мюнстерберга состояла в том, что он, не ставя целью реформировать психологическую науку изнутри, занялся прикладной психологией, казалось бы, периферической, а на деле решающей для исторического развития областью психологии, где она пересекалась с жизнью. Прикладную психологию Г. Мюнстерберг делил на каузальную и телеологическую. Каузальная есть использование психологических категорий и методов для объяснения различных феноменов культуры, исследуемых кроме психологии и другими науками (например, включение психологических объяснений в политологический или исторический анализ). Каузальная психология — это «психология культуры». Телеологическая же — приложение психологических знаний и методов для достижения практических целей. Это и есть *«психотехника»*.

Раз психотехника, по Г. Мюнстербергу, — *прикладная* дисциплина, то, чтобы понять ее, стоит выделить и рассмотреть три ее части: *что*, собственно, «прикладывается», *как* и *куда*, то есть предмет, способ и область приложения.

Область приложения психотехники Г. Мюнстерберг категориально осмысливает как **культуру**: «Во всех сферах человеческой культуры (курсив мой. — Ф.В.) возникают психотехнические проблемы» (Мюнстерберг, 1924, с. 7). Учитель воздействует на ребенка, проповедник — на грешника, продавец — на покупателя, врач — на пациента и т.д. В их деятельности «те или иные цели могут быть достигнуты вполне или отчасти через посредство психических процессов, и задача психотехники состоит в том, чтобы показать, о каких процессах должна при этом идти речь и какие влияния необходимы для достижения желательного результата» (там же, с. 5). Заметим, что в качестве примеров сфер культуры Г. Мюнстерберг использует не искусство или науку, а образование, церковь и торговлю, то есть социальные сферы, имеющие отчетливо выраженный **практический** характер. Психотехника здесь предстает как дисциплина, встроенная внутрь социальной практики как ее необходимый элемент, позволяющий и познавать психику, и влиять на нее.

Что касается *«предмета приложения»*, то в теоретической рефлексии Мюнстерберга им остается классическая психология сознания. В одной из ключевых дефиниций он говорит, что психотехника — это использование учения **о явлениях сознания** для того, чтобы решить, что мы должны делать²³.

Как бы мы ни оценивали теоретическое, методическое и практическое значение мюнстерберговой психотехники, но нельзя не согласиться с мнением Л.С. Выготского (1982), что методологическое ее значение огромно, и оно определяется, на наш взгляд, тем, что с самого начала каркас понятия «психотехника», состоящий из трех блоков: *предмет приложения — способ приложения — область приложения*, — был наполнен связкой трех категорий: **сознание—практика—культура**, то есть теми самыми категориями, которыми, как мы видели, конституируется *целостный человек*.

Но если так, то что же — «назад к Мюнстербергу!»? Может ли, в самом деле, идея психотехники, сформулированная Мюнстербергом, стать главной методологической доктриной новейшей психологии? И да, и нет. Да, поскольку она выдвинула важнейшую задачу **научно-практического** освоения проблемы «сознание—культура», то есть такого

²³ Заметим, кстати, что Г. Мюнстерберг не различает здесь два важных пласта — аксиологический и операциональный: что делать и как делать. А между тем психотехника обязана проблематизировать эту тему и решать возникающие в связи с ней проблемы. Есть горизонтальное и вертикальное измерения психотехники.

освоения, где теория сознания могла бы черпать жизненный материал не из интроспекции психолога, а из процессов реального взаимодействия людей в той или другой сфере культуры, и в то же время вносить действенный вклад в оптимизацию и развитие социально-психологических механизмов функционирования этой сферы (будь то школа, наука, искусство, медицина или менеджмент). Нет, прежде всего, потому, что созданная в недрах классической психологии теория сознания, на которую рассчитывал Г. Мюнстерберг, не была способна по-настоящему участвовать в решении этой задачи. Классическая психология сознания была неадекватна самой идее психотехники. Чтобы действительно, конкретно связать в рамках одной дисциплины под названием «психотехника» сознание с практикой и культурой, нужно было сделать радикальный шаг в теории сознания.

Сознание

Такой шаг был сделан в культурно-исторической концепции Л.С. Выготского. Он состоял в том, что само сознание было понято как «культурное» и «практическое» по своему генезису, строению и функционированию.

Это утверждение лучше всего пояснить на примере какой-либо психической функции. При исследовании памяти в классической психологии (у Г. Эббингауза и др.) память понималась как автономная функция, самобытный процесс, натуральный объект, подчиняющийся собственным внутренним законам. У З. Фрейда, в его объяснениях процесса забывания, память стала рассматриваться в контексте личной судьбы, как личное действие, разворачивающееся во внутриспсихическом пространстве и участвующее в решении смысловых проблем жизни. У П. Жане, в его теории памяти как рассказа, как «реакции на отсутствие», память также понималась как действие, но разворачивающееся в социальном контексте и мотивированное этим контекстом (необходимостью воспроизвести в рассказе некое социально-значимое событие). П. Жане и З. Фрейд как бы извлекли память из замкнутого мирка психических функций классической психологии и вывели ее в виде человеческого действия в реальные жизненные контексты — биографический и социальный.

Однако радикальные преобразования понятия памяти совершились в культурно-исторической теории Л.С. Выготского, который добавил к предшествующим еще один контекст рассмотрения — контекст культуры — и сумел произвести в понятии «высшей психической функции», относящемся и к памяти, синтез всех этих контекстов. Вспомним еще раз вдохновленные Л.С. Выготским опыты А.Н. Леонтьева по изучению опосредованной памяти. Во-первых, им предшествовал культурологический экскурс в историю, который был не просто беллетристическим предисловием, а анализом функционирования *культурных средств* памяти. Использование средств запоминания стало центральным пунктом проводимых экспериментов. Во-вторых, *социальный контекст* (взаимодействие экспериментатора и испытуемого) был интимным внутренним механизмом, порождающим исследуемый предмет — опосредованное запоминание, а не просто внешним условием «включения» опыта и контроля результатов. В-третьих, память здесь изучалась в генетическом аспекте, но не в смысле естественного созревания, а в смысле *искусственного построения*. И последнее: память, изучавшаяся, так же как в теориях З. Фрейда и П. Жане, как действие, в отличие от этих теорий одновременно возвращала себе достоинство и облик *психической функции*, то есть вновь «возвращалась» сознанию. *Итак, в школе Л. С. Выготского память была понята как искусственное образование, порождаемое в социальном контексте совместной деятельностью людей с помощью культурных средств (знаков) и интериоризируемое, натурализируемое в биографическом контексте в новую «высшую» психическую функцию.* Таким образом, Л.С. Выготский добавил к контекстам рассмотрения памяти — функциональному, биографическому и социальному — три идеи — культурной опосредованности, генезиса и интериоризации и сумел осуществить синтез всех этих представлений в понятии «высшая психическая функция».

На этом примере отчетливо видно, что Л.С. Выготский создал такую психологическую теорию, где сознание было понято как феномен, которому внутренне присущи культура и практика. Эту теорию можно было бы назвать не только *культурно-исторической*, но и с равным успехом *культурно-практической*, поскольку один из основных смыслов слова «историческая» в принятом названии отражает идею генезиса сознания, но не естественного (поэтому это не «*генетическая* психология», как у Ж. Пиаже), а искусственного, производимого совместной деятельностью, опосредованной культурными средствами, то есть практикой.

Такое понимание сознания в отличие от классической психологии сознания адекватно общей идее психотехники, поскольку изначально включает в свернутом виде всю молекулярную структуру этой идеи — «сознание—практика—культура».

Но почему же Л.С. Выготский не назвал свою теорию культурно-практической, хотя считал практику краеугольным камнем новой психологии, и почему не создал все-таки психотехнического подхода, хотя признавал за психотехникой величайшее методологическое значение?

Ответ на этот вопрос кроется в понимании второго узла категориальной структуры психотехники — узла практики.

Практика

У Л.С. Выготского было понятие «практической психологии», но не было еще понятия «психологическая практика». На первый взгляд, это синонимы, но по существу между ними пропасть, радикальный сдвиг, отделяющий две исторические эпохи в развитии психологии (ср. *Пузырей*, 1986).

Практическая психология — это приложение и развитие психологических знаний в какой-либо сфере общественной практики — педагогике, медицине, обороне и т.д. Виды практической психологии получают соответствующие ведомственные имена — педагогическая психология, медицинская, военная и т.д. Каждая разновидность практической психологии включает в себя частную прикладную психологическую теорию, реализующую общепсихологические принципы в материале данной сферы социальной практики и для решения ее задач.

Психологическая практика — это самостоятельная практическая деятельность психолога, где он выступает «ответственным производителем работ», непосредственно удовлетворяющим и обслуживающим социально оформленные жизненные потребности заказчика. Психологическая практика обслуживает «первичного потребителя», а не профессионала, представителя той или другой социальной сферы деятельности. Одно дело — консультирование пациента, обратившегося за психологической помощью, другое — консультирование того же пациента по заказу его лечащего врача. Хотя процессы могут быть очень похожи, но их внутренний смысл, форма осмысления результатов, сам способ мышления и типы отношений, складывающиеся в этих деятельности, разительно отличаются друг от друга. Наиболее «чистыми» видами психологической практики являются индивидуальное и семейное консультирование и различного рода «личностные» психологические тренинги.

Вернемся к поставленному выше вопросу. Почему, в самом деле, Л.С. Выготский при всей гениальности ума, при всем ясном понимании, что психотехника является краеугольным камнем новой психологии, что только она может вывести психологию из кризиса, не создал все-таки полноценной психотехнической системы? Потому, что у него не только не было, но и не могло быть понятия *психологической практики*. Не в том, разумеется, дело, что он чего-то не додумал, и даже не в том, что социально-политические условия тогдашней жизни в стране не позволили бы психологической практике как таковой осуществляться в сколько-нибудь массовом масштабе, а потому, что психологической практики при жизни Л.С. Выготского вообще не существовало как сложившейся социальной реальности, она еще только рождалась из недр практической

психологии, которая сама в ту пору не достигла совершеннолетия.

Первой, и даже отчасти переходной, формой был ранний психоанализ. Психоанализ осуществлялся уже как самостоятельная психологическая практика, но осознавал себя в начале как своего рода лечебную, медицинскую деятельность, оправдывающуюся ценностью здоровья. Однако это была уже не вполне медицина: слишком большой вес для психоаналитика имело раскрытие истины по сравнению с обычным медицинским прагматизмом, слишком много внимания уделялось душевным состояниям в процессе этого странного «лечения разговором», слишком всерьез для материалистической европейской медицины признавалась решающая роль психических процессов в этиологии заболевания. Медицинский миф и антураж долгое время удерживался, но всем было понятно, что это уже не медицина, что психоанализ — это какая-то психология. Но какая? Психоанализ совершенно не напоминал теоретическую и экспериментальную психологию того, да и нынешнего, времени. Это не была и «практическая», а именно медицинская психология, поскольку медицинский психолог как таковой обслуживает деятельность врача, а психоаналитик оказывал самостоятельную помощь пациенту. Это не была и «прикладная» психология, ибо психологические знания черпались не из научных психологических систем, чтобы затем быть использованными в психоаналитической работе, а складывались в опыте самой этой работы. Рождалась новая форма психологии.

Событие произошло, психоанализ дал небывалый еще в истории психологии и даже в истории культуры феномен *собственно психологической практики* как самостоятельной социальной сферы, живущей по своим законам, а не обслуживающей какую-либо иную сферу социальной жизни. Правда, этот феномен не был явлен еще, как сказано выше, в чистом виде, это был еще, быть может, не более чем «неандерталец» будущей психологической практики, несущей на себе зримый отпечаток своего происхождения из медицинской практики и естественнонаучного мышления. Возможно поэтому Л.С. Выготский, казалось бы, более всех других гроссмейстеров психологической мысли подготовленный своими же теоретическими построениями к восприятию методологического значения психоанализа, не успел полностью оценить масштаба события, произошедшего с выходом психоанализа на сцену культурной жизни.

Начало века изобиловало грандиозными научными открытиями, философскими прозрениями, художественными свершениями. Но даже на этом фоне психоанализ по своему влиянию на европейскую, а через нее и мировую культуру предстает одной из первых, если не первой вершиной. Уже к 1960-м годам XX века чуть ли не в каждом втором литературном произведении, фильме или спектакле, философской доктрине и бытовом разговоре, а то и в сновидении образованного европейца можно было обнаружить следы влияния, отголоски образов, схем и понятий психоанализа. Он в тех или других своих вариантах буквально пронизал и изнутри реформировал культуру. Отвлечемся пока от вопроса, хорошо это или дурно, сейчас речь лишь о реальности факта и масштабах явления.

Разве мог кто-нибудь в конце XIX, да и в начале XX века предположить, что психология, только-только появившаяся на свет как самостоятельная наука и находившаяся на периферии как научной, так и культурной жизни, вдруг так быстро и так громко заявит о себе?

Но чему, собственно, психоанализ обязан своей головокружительной карьерой? Разве не было научных психологических теорий такого же ранга, разве гештальт-психология, генетическая эпистемология Ж. Пиаже или та же культурно-историческая психология Л.С. Выготского были менее мощными психологическими концепциями? Разумеется, нет. Волшебная сила психоанализа, собственно, в том и состояла, что он, несмотря на все естественнонаучные установки своего создателя, не был в строгом смысле слова *научной психологической теорией*. Ни научной, ни психологической, ни теорией. Он был первой *психотехнической системой*, поставившей «камень, который

презрели строители», — психологическую практику — во главу угла.

И именно то обстоятельство, что ставка была сделана на свою, психологическую практику, определило как внутренние теоретические достижения психоанализа — развитие принципиально нового стиля и типа мышления, так и его внешние социальные продвижения.

И Г. Мюнстерберг, и Л.С. Выготский мечтали о новой, сильной, жизненной, реальной психологии, оказывающей влияние на человеческую жизнь, на культуру, но они предполагали, что психология войдет в город современной цивилизации через ворота существующих социальных практик педагогики, промышленности, медицины, юриспруденции и т.д. как надежный и дельный оруженосец этих практик. Процесс этот начинался тогда и продолжается до сих пор. Но психоанализ избрал другой путь. Он обошелся безо всякого покровителя, сам прорубил в городской стене для себя ворота и въехал в город с невозмутимым видом «право имеющего». Без небольшого скандала, разумеется, не обошлось. Но с тем большим энтузиазмом новый пассионарий вскоре был принят в свете. Начался небывалый процесс психологизации культуры.

Если таким оказалось культурное значение первой, еще не до конца оформившейся и осознавшей себя психотехнической системы, то какую роль может сыграть развитая психотехника для судеб цивилизации, об этом можно пока только догадываться. Сомневаться не приходится только в одном, что эта роль, по крайней мере, не меньше, чем роль открытий в области ядерной физики²⁴.

Чем же, повторим, можно объяснить такой неслыханный «карьерный рост», который благодаря психоанализу совершила психология в первой половине XX века, заняв одну из самых влиятельных позиций в культуре? Неужели так сильны и масштабны были прямые результаты психоаналитических сессий, и с психоаналитической кушетки поднялся новый европейский человек? Вовсе нет. С точки зрения развиваемого здесь представления о психотехнике все социальные и культурные успехи психоанализа являются, так сказать, наградой за то, что он создал новую сферу культуры — самостоятельную психологическую практику.

Что до его научных заслуг перед наукой психологией, то главная из них состоит не в развитии категории бессознательного или теории влечений, а в реализации принципиально новой методологии: *в психоанализе практика стала методом научного познания, в то же время психологическое познание (анализ) стало методом практики*.

Итак, фундаментальный методологический вклад психоанализа в психологию состоит в создании и разработке категории психологической практики. Если категория сознания, разработанная Л.С. Выготским, включила в себя категории практики и культуры как внутренне присущие ей, то развитая в психоанализе категория психотехнической практики вобрала в себя категории культуры и сознания. Мы говорим сейчас не о понятиях и терминах, имевших обращение в самом психоанализе, а о внутренней категориальной их сути.

Психоаналитическая практика была, прежде всего, практикой работы с сознанием, сознание по существу и рассматривалось здесь не как отдельный натуральный объект, а как элемент системы «работа-с-сознанием». Такой подход принес, как известно, щедрые плоды в понимании человеческого сознания.

Что касается категории культуры, то впервые за историю психологии в психоанализе культурные, мифопоэтические формы (не только об «Эдипе» речь) стали не просто метафорой, а объяснительным принципом психологических феноменов. С другой стороны, в лице психоанализа впервые возникла такая психологическая система, которая сделала психологические интерпретации культурных явлений достаточно вескими и

²⁴ А раз так, раз столь мощная энергия скрыта в невинных, казалось бы, психологических штудиях и практиках, то необходимо отдавать себе отчет и в масштабах потенциального зла, таящегося в психотехнике.

серьезными²⁵. Словом, психология впервые стала культурно конвертируемой: психоаналитические построения легко включались в культурную жизнь, впитывались в символику искусства, становились предметом философских интерпретаций, входили в поры каждой сферы культуры и, наоборот, сами впитывали в себя разного рода культурные влияния.

Таким образом, не просто сам факт психологической практики как новой социальной сферы, но развитие идеи этой практики, включившей в себя как необходимые органы сознание и культуру, — вот чем объясняется столь масштабное влияние психоанализа на европейскую цивилизацию.

Подведем итоги. Расщепление, грозящее расколоть психологию на две дисциплины, может быть преодолено развитием психотехнического подхода, вводящего психологическую практику внутрь психологической науки, а науку — внутрь практики. Принципиальная категориальная схема психотехнического подхода — «сознание—практика—культура» содержалась, пусть в недостаточно отрефлектированном виде, уже в труде Гуго Мюнстерберга (1924), инициатора психотехнического проекта. Понадобились выдающиеся мыслители, которые, ощущая начавшиеся тектонические сдвиги в глубинных основаниях психологии, смогли переосмыслить эти фундаментальные категории и тем помочь рождению новой психологической парадигмы.

Л.С. Выготский в культурно-исторической психологии развил такую теоретико-методологическую трактовку категории *сознания*, которая включила в его внутреннюю структуру категории культуры и практики, благодаря чему удалось создать принципиально новый (психотехнический) тип психологического эксперимента. З. Фрейд в психоаналитическом учении разработал другой, центральный, блок общей, схемы — категорию *практики*, включающей в себя категории сознания и культуры, — и благодаря этому дал первый образец психотехнической системы. В соответствии с этой логикой наиболее актуальной задачей, замыкающей создание психотехнического подхода, является формирование категории *культуры* с психотехнической точки зрения.

Контуры новой психологии, которая на наших глазах завершает период своего становления, уже достаточно четко обозначились. Не отказываясь от задач *объяснения*, она выдвигает на первый план категорию сознания и потому становится *феноменологической* и *диалогической*, то есть *понимающей* психологией, способной профессионально относиться к предмету исследования не только как объекту, но и как к живому Ты. Не отменяя своих познавательных задач, она станет, прежде всего, *деятельной*, изменяющей психологией, ставящей психологическую *практику* во главу угла не только своего социального функционирования, но и своей исследовательской методологии. Не отбрасывая своих почтенных естественнонаучных традиций, она станет, наконец, и полноценной *гуманитарной* дисциплиной, способной понимать человека в культуре и культуру в человеке и взаимодействовать с ним с учетом этого понимания.

Итак, в рождающейся психологии выделяются три магистральных и взаимосвязанных подхода: категории практики соответствует «деятельный» подход, категории сознания — понимающий подход, категории культуры — гуманитарный подход. Следовательно, новая психология есть психология **понимающая — деятельная — гуманитарная**.

Обсуждение актуальных проблем, которые встают перед психологией в связи с психотехнической разработкой категории культуры, выходит за пределы задач этой

²⁵ Отношение к ним с самого начала было крайне неоднозначным, кто-то был оскорблен и шокирован, кто-то (В. Набоков, например) не упускал случая, чтобы не попытаться уличить «венского кудесника» в шарлатанстве, кто-то (А. Эйнштейн, например) восхищался научным гением З. Фрейда, но, во всяком случае, уже нельзя было не замечать появившийся новый ракурс рассмотрения культурных феноменов.

главы, но одну из них — не столько психологическую проблему, сколько проблему психологии — необходимо назвать. Это проблема *культурной ответственности*. Чем далее развивается психология как социальная практика, тем более психологизируется культура. В то же время идет встречный процесс «культуризации» психологии, насыщения ее культурными содержаниями. Зачастую не осознавая философские, этические, религиозные источники своих идей, психология становится агентом, проводником, а благодаря совершенствованию техники психологической работы, и «сверхпроводником» различных содержаний из культуры в человеческое сознание. Многие внимательные наблюдатели процессов, происходящих в современной культуре, с тревогой смотрят на то положение, которое заняла психология в жизни европейского человека²⁶. И в самом деле страшно сознавать, что через канал психологии в человеческую душу под профессионально благовидными предложениями «эмоциональной поддержки», «расширения сознания», «устранения невротических симптомов» и т.д. вводятся чудовищные смеси мотивов, образов, идей из совершенно несовместимых культур и культов от шаманизма до бахаизма. Спасение от «идеологии» вовсе не в идеологической всеядности психологии (это замена рабства на худшее — быть слугой многих господ) и не в доморощенной антропологии, а в свободе. В свободе совести, в частности. Выбор культурной позиции, осуществляемый на основе этой свободы, — за пределами профессии. Но у нас нет свободы от свободы совести. Игнорировать саму ситуацию ценностного выбора культурной позиции для современного психолога уже не позволительно. Исследовательские проекты превратились в реальность, психология стала *культурно-исторической* в полном смысле слова. У нас теперь такая профессия, что мы в ответе за то, будет ли человек искать в своей душе Эдипа или Христа.

²⁶ С.С. Аверинцев пишет об утрате европейским сознанием «императива значительности», в связи с чем для психологии возникает опасность быть все более востребованным массовой культурой «суррогатом» духовности: «...Смотрю сам на себя с удивлением! — все-таки ностальгия. Ностальгия по тому состоянию человека как типа, когда все в человеческом мире что-то значило или, в худшем случае, хотя бы хотело, пыталось, должно было значить; когда возможно было "значительное". Даже ложная значительность, которой, конечно, всегда хватало — "всякий человек есть ложь", как сказал Псалмопевец (115:2), — по-своему свидетельствовала об императиве значительности, о значительности как задании, без выполнения коего и жизнь — не в жизнь... Значительность вообще, значительность как таковая просто улетучилась из жизни — и стала совершенно непонятной. Ее отсутствие вдруг принято всеми как сама собой разумеющаяся здоровая норма. Операция совершенно благополучно прошла под общим наркозом; а если теперь на пустом месте чуть-чуть ноет в дурную погоду, цивилизованный человек идет к психотерапевту (а в странах менее цивилизованных обходятся алкоголем или наркотиками)» {Аверинцев, 1996}.